

Юрий КРАСАВИН**ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ****повесть****ЧАСТЬ ПЕРВАЯ****1.**

«Этот город не любит меня./ Просто так, безо всякой причины. / Не бывало отрадного дня,/ Чтоб меня не казнили безвинно. / Нет, не люди мои палачи - / Хамство, глупость, тупая жестокость. / Я, случается, плачу в ночи / Оттого, что мне тут одиноко...»

В ненастный осенний вечер я сидел за своим письменным столом и по непонятному внутреннему влечению писал, словно под диктовку, эти стихи. Спешу предупредить: я не поэт, а стихотворец, пишущий от случая к случаю, раз или два в год. Потому за всю свою жизнь я сочинил, небось, не более полусотни стихотворений. Можно бы и не сочинять их, но раз уж написались, пусть будут...

«Этот город никем не храним, / Богоброшен и богооставлен, / Потому и клубятся над ним / Злые силы, он тем и прославлен, / Его имя темно и мертво, / Он по глупости так именован, / Потому я зову Корчевой / Столь враждебное мне Конаково...»

Старинный городок Корчева располагался когда-то на берегу Волги чуть ниже по ее течению, но он ушел на дно Ивановского водохранилища в тридцатых годах минувшего несчастного века. Жилые дома его перевезли сюда, выстроили в улицы – это нынче старая часть города. По праву наследования надо бы переименовать наше Конаково, сделать его Новой Корчевой... сила слова необорима! слово может творить чудеса! Оттого и нравы его граждан смягчились бы. Вот я и переименовал из самых благородных побуждений. Но пока что...

«Здесь жируют мерзавец и плут, / Здесь ликуют прохвост и бездельник. / Удивительно много их тут, / Тех, чья

жизнь и пуста, и бесцельна! / Тут при овцах и волк, и пастух - / Каждый цели своей предназначен. / Мне смешно видеть их суету, / И тогда я смеюсь, а не плачу.

Должно быть, они витали над моей головой, эти стихи, а я теперь ловил их, закреплял на листе бумаги, располагая не в столбик четверостишиями, а просто в строчку:

Это давнее мое убеждение – о стихах, витающих в воздухе подобно вольным птицам или столь же вольно плавающим, как рыбки в воде. Наверно, думаю я, заслуга стихотворцев состоит лишь в том, что они искусно приманивают, ловят их, каждый в силу своих способностей и умения; поймав, прикалывают свою добычу к бумаге кончиком пера или приколачивают буквами пишущей машинки.

Вот какая мысль не оставляет меня: самое-то ценное давно уже выловлено, извлечено из окружающего нас околоземного пространства (тут речь не только о Новой Корчеве) поэтами золотого да серебряного веков, и приколото ими намертво к бумаге, к мрамору, к медному листу. А нам, живущим ныне, осталась так себе, мелочишка сорная, мелюзга, вроде стишков о нелюбви города к своему гражданину

Еще мне подумалось, что написание целого стихотворения – это ходьба по неизведанной топи болотной: бросишь сцепленные в строку слова, как бревнышко, ступишь на него – шатко, ненадежно; кладешь еще одно... увязываешь неуклюжие строки рифмой, заполняешь пустоты туманом смысла...

А куда, собственно, вел я эту хлипкую гать, сочиняя стихотворение о Новой Корчеве, богброшенной и богооставленной? Куда выстраивал этот жалкий мосточек, рискуя позорно провалиться в болотную жижу? Бог знает...

2.

Внезапно охладев к стихописанию, я некоторое время сидел просто так, потом спрятал исписанный листочек в ящик стола и придвинул к себе книгу, которую читаю довольно часто. Этот толстенный фолиант вместил в себя множество книг, стал своеобразной библиотекой. Там повествуется о давно ушедших временах, об исчезнувших государствах и городах, о неведомых народах и их мудрых или жестоких правителях. Меня волновали труднопроизносимые имена и названия, поражало обилие изображаемых событий, озадачивали странные, непривычные обороты речи.

«На другой день Олоферн приказал всему войску своему, пришедшему ему на помощь, подступить к Ветилуе, занять высоты нагорной стороны и начать войну...»

«В шатре осталась одна Иудифь с Олоферном, упавшим на ложе свое, потому что был переполнен вином... Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в головах Олоферна, она сняла с него меч его и, приблизившись к постели, схватила волосы головы его... и изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна и сняла с него голову...».

На этот сюжет я даже написал стихотворение, которое начиналось так:

*Юдифь! Я – Олоферн. Мы ветхозаветны
И в тысячелетьях – лишь горсточка пыли.
Как две стороны у чеканной монеты,
Мы неразлучимы, но нас разлучили.*

*Юдифь! Я – убитый тобой Олоферн.
Мы оба – ничто перед волею Рока.
Я ныне распят, как на лысой Голгофе
Несчастный Христос, сын несчастного Бога.*

*Юдифь, я хочу, чтобы все повторилось:
Пусть снова умру у стены Ветилуи
Ты помнишь? Я принял, как высшую милость,
Твои обжигающие поцелуи...*

Я оторвался от книги, вздохнул, стал собираться. Жена посмотрела на меня вопросительно.

- Ты куда это, на ночь-то глядя? – спросила она. – Посмотри, какое ненастье там.

Что-то затосковало во мне, как бы заскулило; печальная нота зазвучала в душе. Я глянул в окно: ветер безжалостно трепал березы под нашей лоджией; уличный фонарь отчаянно качался и мигал; по Волге тяжело, медленно плыл буксир с баржей, борясь с волнами и ветром.

- Не ходи, - сказала жена. – Уже поздно, и дождь хлещет.

И не следовало мне выходить на улицу в этот вечер, тем более в такую позднюю пору, но я еще накануне обременил себя обещанием позвонить знакомым в Москву – и чего это мне втемяшилось! – а в случае междугородних разговоров (домашнего телефона у меня нет) приходится идти на почту – на другой конец улицы нашей, где торговый центр, там главный узел связи. Я надел теплый свитер под пиджак., плащ застегнул на все пуговицы, поднял воротник... Она смотрела на меня почему-то встревоженно: думаю, ее тоже тяготило нехорошее предчувствие. А во мне душевный скулеж стал явственней.

- Был человек в земле Уц, - бормотал я, спускаясь по лестнице: лифт уже не работал. – Ходил в полночь на почту...

3.

Я вышел из нашего подъезда – ветер по-разбойничьи набросился на меня и окропил водой, как с банного веника. Для очкариков дождь – несчастье: окружающий мир тотчас исказился и потерял очертания. Да и не было в этом мире ничего очерченного четко: облака неопределенной формы мчались вверху, ветер раскачивал деревья, дождь словно сеткой занавесил дома нашей улицы. Лужи были черны, как и асфальт, они расплескивались у меня под ногами.

Но в эту ненастную пору не один я оказался под открытым небом. Дом наш этаким сапожком, и как раз на углу, где «носок», темная фигура качнулась ко мне:

- Мужик, в морду хошь?

- Нет! – сказал я решительно и головой мотнул, и отстранился от него.

- А может все-таки хошь? Ты скажи, я дам.

- Ни малейшего желанья, - отвечал я ему.

Каждый раз, выйдя из дома, я попадаю в какую-нибудь передрагу, будь то днем ли, ночью ли... Такой уж город.

- А то давай дам, а? – не отставал он. – Я могу.

И уже шагал рядом, примеряясь.

- Да пошел ты... козззёл! – сказал я ему яростно.

Он отшатнулся, а мне пришлось прибавить шаг. За спиной у меня шлеп-шлеп по лужам. Оглядываться не хотелось – это было бы уже проявлением трусости. Кажется, отстал... оторвался я от него.

Пошрое кулачное действие никак не могло вдохновить меня. Но иногда ведь обстоятельства диктуют свою волю. Хочешь не хочешь, а бываешь вынужден дать ближнему по морде.

Вот если рассудить здраво, что этому типу нужно было? Я его толкнул? Или взглянул неприветливо? Или слово обидное сказал? Ни то, ни другое, ни пятое и ни десятое. Я просто шел мимо, вежливый и культурный человек, еще несущий домашнее тепло и благородный строй мыслей. Но дело тут вот в чем: он выполняет волю славного града нашего по отношению ко мне, гражданину его.

Исполняющий волю города не устремился за мной, отстал. Но это ничего не означает: найдутся другие исполнители. Все здесь враждебно мне, вплоть до природных стихий: ветер сразу усилился, едва я вышел на улицу; и дождик стал обильнее; и лужи сами собой подплескивались мне под ноги, а брызги взле-

тали как-то так, чтоб непременно замочить мои штаны до колен.

4.

Неприятный скрежет железа по асфальту стал раздражать меня: две милицейские машины с мигалками конвоировали третью, а та третья являла собой жалкое зрелище. «Иномарка, - отметил я не без удовлетворения. – Есть Бог на свете». Владельцы этих иномарок днем и ночью гоняют по улицам на предельной скорости. Уж скольких покалечили, а все нейметя. Вот кто-то из них доездили. Не все-то ему других давить, и сам пострадал. Небось, увезла его «скорая помощь», а «тачку» иностранного производства волокли, надо полагать, на милицейский двор, как вещественное доказательство – вещдок.

Эти две конвойные машины и между ними покалеченная ехали так медленно, словно на кладбище, и скрип-скрежет был столь жалобен и печален, что все это очень напоминало похоронную процессию, причем жутковатую: никого в кабинах не видно, словно автомашины совершали погребальное дело без участия людей. Может, так оно и было: чего не случается у нас в Новой Корчеве!

Я ускорил шаги, чтоб не сверлили уши эти звуки.

Когда переходил дорогу, что пересекает сквер возле малого рынка, мимо меня, едва не задев, на бешеной скорости промчался мотоциклист, весь закованный в доспехи – черный металлический шлем, большие квадратные очки, резиновые перчатки до локтей, рыжая, словно выкованная из меди куртка. Мне показалось, что он намеренно вильнул передним колесом, чтобы сбить меня; но сам едва удержался в седле, выскочил на тротуар, едва не врезался в дерево, потом уж удалился по дороге.

«Еще один кандидат в мертвецы, - подумал я. – Скоро и его подберут те две милицейские машины».

5.

Вообще в нашем городе немало странностей, и есть что-то противоестественное даже в обыкновенных вещах.

Вот, скажем, лифт в моем доме... Выйду из своей квартиры и тотчас слышу, как он, будто терпеливо и азартно подстерегавший меня, стронулся с места и зажужжал. Я еще кнопку вызова не нажимал, а уж кабинка идет ко мне, останавливается как раз передо мной, радостно и хищно раздвигает дверцы, словно челюсти. При этом она освещена мертвенным неоновым

светом, я не без опаски вступаю в нее, как в пасть дракона - механического дракона, порождения нашего железного века! - и доверяюсь судьбе.

Даже в обыкновенном телефонном аппарате словно сами собой живут голоса, путешествуя по проводам подобно блуждающим электрическим токам, которые, как известно, могут и убить. Они цепляются за клеммы автоматики, подстерегают и врываются в твой разговор с кем-нибудь, хамским словом проникают сквозь мембраны тебе в ухо... Бывают и смиренные голоса. Да ведь и они не разумней.

Впрочем, однажды у меня состоялся памятный разговор... я, как обычно, звонил по телефону из переговорной кабинки в Москву, и в трубке после странного шороха послышался голос незнакомый, тихий, однако явственный:

- Здравствуйте. Слушаю вас, говорите.

А кто его просил слушать? Я не просил. Он опять:

- Говорите, я слушаю вас.

Голос какой-то странный, не женский и не мужской.

Все-таки я отчасти не прав, утверждая, будто голоса эти живут сами по себе в телефонных проводах, как жуки в стеблях тростника или тараканы в щелях, - просто некий нетрезвый тип воспользовался техникой, чтоб поразвлечься в своих сирых буднях. Вишь, допился до такого состояния, что и голос стал мертво уныл от полного бессилия, словно из могилы.

- Меня зовут Анаксимен. Поговорите со мной.

Сначала-то я разозлился: он прервал меня в важном разговоре, как бы отрубил моего собеседника. Но ведь так жалобно попросил, что по слабости своей душевной я его пожалел.

- О чем же нам толковать, родной вы мой? - сказал я со-страдательно. - Вы пьяны, а я трезв. Мы неравны, понимаете? Не отложить ли наше общение до завтра?

- Вы не поняли: я Анаксимен, - сообщил он печально. - Меня сейчас унесет вселенским ветром.

- Счастливого пути, дорогой Семен!

- Анаксимен, - поправил он строго, а потом более смиренно: - Мне одиноко, грустно. Поговорите со мной.

Вот я и смягчился, вступил с ним в разговор.

- Так вы, действительно, тот самый мудрец из древнего греческого мира? Из славного города Милета, который колонизировал чуть не все наше Черное море?

Он что-то сказал в ответ, но до меня донеслись лишь обрывки сказанного им:

- ...там цветет мандрагора, священное дерево... я был ее корнем до того, как стать человеком.

- Мандрагора, - повторил я мечтательно. – А еще в вашем Милете растут олеандры, магнолии, миндальное и гранатовое дерево. Они цветут просто волшебю! Ничуть не уступают по красоте нашим яблоням и вишням.

- Вы бывали у меня на родине? – оживился он.

- Я был семечком гранатового дерева, - сообщил я ему по секрету. – Меня чуть не съели за пиршественным столом в первом веке до нашей эры.

А что? Такое вполне могло случиться. Как раз в то время, когда этот Анаксимен еще был корнем мандрагоры в красноватой милетской почве – те корни бывают удивительно похожи на человеческие фигурки, потому и почитаемы! Почему бы мне не быть гранатовым семечком или миндальной косточкой? Видел же я где-то цветы - этикие восковые бокальчики красно-розового цвета, из них выглядывают кудрявые, словно бумажные язычки. А листья мелкие, глянцевые... Откуда мне, жителю средней полосы России, знакомы цветы граната?

- Меня носит вселенским ветром, - опять сказал мой собеседник. - Не скоро мне быть в Милете.

Мне захотелось его ободрить.

- Какую чудную механику мира вы изобрели, дорогой философ! Она объясняет все. Подумать только: вещи возникли из воздуха... в зависимости от степени сгущения его – и вода, и огонь, и камень... земля плоская, опирается на воздух... небо твердое, к нему приколочены гвоздями звезды... а планеты и солнце, и Луна плавают в воздухе... Все до гениальности просто!

- Да, - сказал Анаксимен польщенно. – Это была очень красивая система мира. До сих пор никто не может убедительно ее оспорить!

- Клянусь, нынешние ученые мужи гораздо глупее вас! Они вообразили черт-те что: галактики, атомы с молекулами, черные дыры и разность течения времени согласно гнусной теории относительности.

- Глупо, - согласился он, - хотя и кажется умным. Вы несчастные люди, вам совсем заморочили головы.

Тут он словно бы отплыл куда-то, утонул в шумах – уж не вселенский ли ветер унес его?

- Послушайте! Почтеннейший Анаксимен! – взывал я.

Голос его прорезался снова, стал почти ясен:

- ...стоит всей моей философии. Я только теперь это понял.

Он-то понял, да я не очень.

- А что, ваши друзья – Фалес и Анаксимандр – с вами сейчас?

- Они за внешней сферой.

- А-а, побежали в коммерческий ларек за бутылкой? Вы соображаете на троих?

Кажется, он не понял меня.

- А как поживает мой друг Анакреонт? – спрашивал я. – Он по-прежнему сочиняет стихи о вине и женщинах?

- О, да! – голос в трубке стал живее. – Он имеет обыкновение напевать их... Даже когда мы не хотим слушать.

- А вы берите с него плату за это, - посоветовал я. – Спел – заплати слушателям золотой монетой.

- Зачем они нам!

- За ненужностью подарите мне.

- Не удивительно ли, согласитесь, - продолжал он не о золотых монетах, а об Анакреонте, - не удивительно ли это постоянство привычек, если принять во внимание протяженность во времени – несколько тысячелетий!

- Удивительно совсем другое, - отозвался я с укоризной, - то, что вы, человек, судя по всему, образованный, культурный, благовоспитанный, вхожий в хорошее общество, не догадываетесь, как это бестактно – вторгаться в чужой разговор, прерывать беседу незнакомых вам людей... без всякой на то нужды!

- Извините, - сказал он и стал удаляться, повторяя: - Извините... извините...

Голос его истончился до комариного писка и пропал.

Я же скоро пожалел, что спугнул его. Небось, этот Анаксимен, обитающий в неведомых пространствах, где дуют вселенские ветра, мог бы почитать мне новые стихи Анакреонта, сочиненные там... или поведал бы мудрые мысли тех, что «за внешней сферой». Наверняка они пришли к новым любопытным умозаключениям за минувшие-то две с половиной тысячи лет.

Да! Я ведь спросил его тогда:

- Позвольте, вы действительно философ или только тезка того мудрого милетца, что изобрел гениальное объяснение устройству нашего мира?

Он ответил:

- Я был философ, но это тяжело – мыслить две с половиной тысячи лет. Теперь я просто одинокий странник... пастырь душ человеческих.

«Пастырь – это что-то вроде священника? – размышлял я теперь. - Батюшка Анаксимен, моли Бога о нас... и о граде нашем заблудшем, и об этой несчастной улице, по которой иду, заселенной страждущими людьми...»

Нет, Новая Корчева не спала. В городе торжествовала жизнь во всех ее проявлениях: по телефонным проводам летели матерные слова, плескалась в ваннах прозрачная вода, холя и лелея обнаженные тела, постанывали пружины кроватей и диванов, тут и там совершались преступления всех степеней тяжести при многообразии отягчающих обстоятельств; кухонные ароматы плыли по вентиляционным трубам, нагло и бесцеремонно попирались нормы нравственности, Уголовный и Гражданский Кодексы, правила уличного движения...

Все шло своим чередом: распутники становились любовниками, взяточники богатели, воры изнывали в азарте, а те, кому крупно не повезло, становились покойниками...

Дождь немного унялся, но ветер не утихал; низко и стремительно неслись облака, тяжелые, сырые. Последние листья срывало с деревьев – в этой части сквера липы и клены уже взрослые, место тут по вечерам-то глухое и разбойное. Обычно, шагая тут в темноте, я бываю готов ко всяким неожиданностям; но нынче непогода, потому никого нет – ни злодеев, ни их жертв.

Однако же на одной из скамеек – надо же! – сидело несколько фигур под зонтиками; сначала-то я принял за молодежную компанию, но это оказались женщины отнюдь не юного возраста. Растрепанные от ветра, как ведьмы, они говорили довольно громко, будучи уверенными, что прохожих в такую погоду нет и никто их не услышит. Одна расположилась этак вольготно, откинувшись на спинку скамьи, а две другие сидели по сторонам от нее как курицы на насести, готовые подняться каждую минуту. Я услышал, как эта средняя говорила:

- И вот когда я к вам приду с ревизией-то, вы тут мне и подсуньте эти ведомости. Я сделаю вид... Мне главное, чтоб они были представлены, понимаете? А в акте запишу...

Я появился перед ними из темноты – говорившая женщина замолчала на полуслове, зонт ее качнулся таким образом, чтоб скрыть лицо; две другие оглянулись на меня с досадой и опаской.

«Вот выяснить бы ваши личности, - просто так, без всякого зла, подумал я. – Ишь, какие переговоры ведут под покровом-то ночной темноты да под дождичком! Небось, взятку передаете из рук в руки?»

- А тебе что за дело? - сказала одна из ведьм, каким-то образом услышав мои мысли.

Или я их высказал вслух?

- Шляются тут... - прошипела другая мне вслед.

Дождь и ветер и ночная темнота не могли замедлить живого течения жизни. Где ж тут ее замедлишь! Поди-ка... Может

быть, как раз природные-то условия и способствовали ее проявлениям – сама природа была руководящей и направляющей силой.

По улице опять промчался шальной мотоциклист, рыцарь бешеной гонки по ночному городу, должно быть, начисто лишенный здравого рассудка. Или у него все-таки была какая-то разумная цель, которая мне неизвестна? Когда он осветил меня своей фарой, я покрутил пальцем у виска: мол, все ли у тебя дома, парень? Не поехала ли у тебя крыша? Вряд ли он заметил это: сектор обзора у него сузился до полосы дороги, по сторонам он не смотрел.

Да и вряд ли в этой оболочке из холодной резины, свиной кожи и металла заключалось живое человеческое тело – скорее всего, Госпожа Смерть в таких доспехах рыскала по городу, без всякого смысла и расчета выискивая свою очередную жертву.

Дождь, утихнувший было, опять припустил, да и крупный, словно горох; некоторые капли даже подскакивали на асфальте: град. Я прибавил шагу; под ногами расплескивались лужи и шуршала опавшая листва.

На площади перед возвышением – это место в Новой Корчеве зовут «торговым центром» - в столь поздний час бодрствовала еще одна троица: толстый мужик в шляпе, сбитой на затылок, ругаясь грозно, порывался ударить другого, щуплого и увертливого, как бес; третий же, самый сильный, добродушно их разнимал; обширная физиономия того, что в шляпе, была прямо-таки свирепой:

- Хромай отсюда! Пришибу, гад!

Но маленький не очень-то его боялся, отвечал не менее грозно и тоже размахивал кулаками.

- Не столько дела у вас, мужики, - сказал я им, проходя мимо, - сколько ругани. Давно бы уж съездили друг другу по мордохарям да и разошлись по домам: спать пора.

Они оглянулись на меня и как-то сразу унялись. Более того, они мгновенно объединились, словно дерущиеся собаки, увидевшие волка.

- Че-во? – сказал один из них угрожающе и шагнул по направлению ко мне.

И двое других сделали то же, плечом к плечу.

Пришлось ускорить шаги, а то ведь накостыляют по шее втроем-то, хорошего мало. И вообще мне следовало вернуться домой. Зачем я вышел из квартирному теплу да уюта в этот холодный мир, где все мне враждебно? Поистине: никем же не мучимы, сами ся маем.

7.

В переговорной комнате было почти пусто. Я по крайней мере пуста была кабинка, где телефон-автомат на Москву. Я зашел, долго крутил диск, все никак не мог набрать нужный номер. Но вот, набрав лишь цифры междугородного телефонного кода, я услышал сквозь тонкий дребезжащий звон незнакомый голос. Я сказал «Алло!», голос замолчал, потом обрадованно отозвался и...заговорил стихами, от которых я опешил: он стал читать мои собственные стихи: «Юдифь! Я – Олоферн. Мы ветхозаветны...»

После того, как я однажды «созвонился» с Анаксименом из Милета, я не столь удивился. Но это был не Анаксименов голос – другой. Он очень уверенно и очень прочувствованно читал, как по написанному. Или выучил наизусть? Но откуда он добыл мои «Библейские мотивы», если я их нигде не публиковал? Он что, невидимо стоял у меня за плечом, когда я их сочинял?

*Юдифь, я хочу, чтобы все повторилось:
Пусть снова умру у стены Ветилуи...
Ты помнишь? Я принял, как высшую милость,
Твои обжигающие поцелуи.*

*Без тени сомнений, без тени боязни
Я тысячу лет среди звездного света
Готов променять на мгновение казни,
Чтоб ожил, воскреснув, сюжет из Завета!*

- Вы кто? – спросил я, воспользовавшись краткой паузой.

- Я – Олоферн, полководец славнейшего из царей Ассирии Навуходоносора! – отвечал он гордо и заносчиво.

- Ты что, обложил своим войском и Новую Корчеву, как тот библейский городок?

Он не ответил и продолжал:

*Юдифь! Нет исхода томленью и муке...
Я вновь осаждаю твою Ветилуи!
Едва лишь коснутся меча твои руки,
Тотчас оживу я и восторжествую.*

*Я вижу: стоишь предо мною нагая...
Пуховая плаха в моем изголовье...
Я всем поступлюсь, от всего отрекаюсь
За миг, озаренный горячей любовью!*

- Освященный, а не озаренный, - поправил я его. – И не любовью, а кровью. Вы обезглавлены, полководец, поэтому плохо запоминаете мои стихи, коверкаете их. Это ваша горячая кровь остывает на ложе. Святости в ней нет, но вы жизнью заплатили за свою военную дерзость, и кровь ваша жертвенна. Таков смысл.

Он послушно поправился:

*Я всем поступлюсь. От всего отрекаюсь
За миг, освященный горячею кровью.*

*Юдифь! Голова моя камнем катится...
Не слышала стража ни стона, ни слова...
Душа из темницы груди – будто птица!
И все...
И конец?
Нет, казни меня снова!
Юдифь! Я – Олоферн...*

В разговор со мной он не вступал, ни о чем не просил, был очень взволнован, судя по дыханию и патетике в голосе; его последний зов к Юдифи, замирая, утонул в телефонных шумах. Может, он читал для кого-то, а не для меня? И это я нехстати оказался нарушителем его телефонного общения с кем-то? Но не странно ли, что я, автор, услышал свои собственные стихи при таких обстоятельствах? Или это подстроено? То есть кто-то пошутил надо мной?

Я пожал плечами и в некоторой растерянности покинул кабинку, вышел на улицу.

Один сведущий человек говорил мне, что в нашем городе и районе тридцать семь штатных сотрудников федеральной службы безопасности – это полные сил, молодые, образованные ребята, оснащенные самой хитрой техникой. Делать им совершенно нечего, потому что иностранных шпионов в Новой Корчеве не водится и тем более уж никто не замышляет государственного переворота. Ну и сидит, небось, этаким серьезный юморист возле подслушивающего устройства, попивает коньячок и развлекает себя: вот засек, что я отправился на телефонную станцию, подключился в нужный момент к разговору и почитал стихи, чтоб озадачить. Впрочем, может быть, служба госбезопасности тут ни при чем; просто местный Кулибин сочинил из старых карбюраторов да трансформаторов приставку к домашнему телефону, которая позволяет ему вот так шалить в меру своих интеллектуальных способностей.

Но в общем-то я был польщен: кому-то явно понравились мои стихи. Этот кто-то, вполне возможно, читал их наизусть. Вот только откуда он их взял? Наверно, один из листов черновика перекачал с моего письменного стола в корзину, оттуда в мусоропровод, а далее движение его загадочно.

А еще меня озадачивало в том телефонном голосе: произношение какое-то странное – как у человека, который вот-вот, совсем недавно научился говорить по-русски и дивится тому, сам себя слушая. Или, например, он лишился дара речи, и вдруг речевые способности к нему вернулись, хотя и не в полной мере.

В общем, чертовщина какая-то... И вообще не везет: до Москвы я не дозвонился, придется идти домой ни с чем, а дождь меня мочит, и ветер за уши треплет... Упрямство мое иногда озадачивает меня самого: я решил все-таки дозвониться.

8. _____

На телефонной станции почему-то оказалось многолюдно, несмотря на поздний час. А я-то рассчитывал на свободную кабинку. Увы, она была занята женщиной, кричавшей так, что слышно было не только в тесном помещении, но и на улице:

- Сынок, почему ты не написал ничего? Ну, как же, сынок! Так нельзя.

- Жди, напишет... - отзывались те, что сидели тут. – Держи карман шире. Больно мы сыновьям-то нужны!

- Сынок! Ты мне уж третью ночь голый снишься. А уж это примета не к добру. Ты не заболел?

- Голый – это к переезду на новое место, - обсуждали ожидающие, - а вовсе не к болезни.

- Нет, к покупкам!

- Сынок, а деньги получил? – кричала женщина в кабинке. – А что же ты не сообщил? Ну, хоть бы бросил открыточку: получил, мол.

А в зале:

- Главное – деньги, а писать не обязательно.

- Сыночек, а Таня где? С тобой рядом? Здравствуй, Танюша!

Последовал разговор с Таней о снах и о том, что бы это значило.

- Денег еще послать, Танюша?

- Посылай, - добродушно и охотно советовали в зале. – Лишние не будут. Им сколько хошь пошли.

- Как он у тебя, не пьет? Только пиво, да? Ты держи мужа в руках. Поняла?

Далее было о том, что вот промочила ноги, идя сюда, что вчера купила две утки, но обе тощие...

- Из Ярославля пешком шли, - переговаривались в зале. – Небось, похудеешь.

...и о том, что подвальчик на даче залило, а там картошка; что купила половину поросычьей головы на студень; что в подъезде пахнет кошками... Поток информации не прекращался и не было признаков, что он скоро иссякнет.

Что ни говорите, а это свинство – занимать линию из-за таких пустяков. Спросила бы про деньги да про здоровье и вымечтайся. Про поросычью-то голову зачем?

9.

Я ждал и, признаться, уже разогревался, как самовар. Успокаивало только то, что очереди к этой кабинке не было: всем прочим не Москва была нужна, как мне, а иные города. Но вот женщина вышла, наконец, красная и распаренная, а откуда-то из-за моей спины, отодвинув меня весьма бесцеремонно, к желанной кабинке шагнул парень этакого спортивного вида, в вязаной голубой шапочке, роста более высокого, нежели я, - на пол-головы повыше! – с лицом решительным и наглым. Откуда он взялся-то, спортсмен этот?

Поскольку я уже был «разогрет» долгим ожиданием, то мгновенно освирепев, попридержал его за рукав куртки:

- Минуточку!

- Ну, ты! – сказал он угрожающе и в свою очередь задержал меня, не пуская в кабинку.

Мы, поборматывая и пыхтя, завозились: на нас с изумлением смотрели ожидающие и телеграфистка из окошечка. Приступившие их остановило моего супротивника, а то он, пожалуй, справился бы со мной – парень здоровый и, судя по всему, тренированный; говорю же: спортсмен. Да ведь и моложе меня вдвое!

- Давай выйдем, - сказал он, приглушая голос. – Выйдем, мужик, а?

Меня разозлило не столько грубое обращение «мужик», сколько этот нахрапистый тон. Одновременно чем-то бодрым, страшно будоражащим опухло, как в далекой молодости, и я ответил, не колеблясь:

- Пошли.

Бывают минуты душевного подъема, когда собственные силы кажутся неодолимыми, - это, я думаю, каждый знает по себе. Вот и на меня нахлынуло вдохновение... эх, его бы на что-то доброе! Но иногда ведь сами события управляют нами, а мы

перед ними просто бессильны. Коли вызов на дуэль, пусть и кулачную, как тут можно отказаться!

Спортсмен мой явно рассчитывал, что я стушуюсь, отступлю. Напрасно! Он просто не понял, с кем имеет дело, этот грубый, невежественный малый.

Поэты не уклоняются от дуэлей! Для них это дело чести, и не только в молодости, но и в солидных летах. Священный огонь, вспыхнувший в душе поэта при его рождении, определяет ему героическую линию жизни. Только героическую, и никакую иную!

- Выйдем на улицу, - сказал он, когда мы вышли на лестничную площадку, явно надеясь, что тут-то я обязательно струшу. Это было как предложение стреляться в шести шагах.

Да ради бога, родной мой! Хоть в самый темный переулок пойдем. Вас тут не целая свора, я надеюсь?

Переговорный пункт располагается на втором этаже. Пока мы спускались по лестнице, передо мной маячила его голова в вязаной шапочке с широкой белой полосой, на которой разместились крупные буквы «Адидас». Голова была такая... обтекаемая, яйцеобразная, по ней как ни стукни, все будет вскользь, все по касательной. «Наверно, он занимается боксом, потому она у него... обкатанная», - предположил я и уже сообразил, что если мой противник решится меня ударить – что вряд ли! просто будет бурное объяснение, словесная дуэль! – но если он все-таки решится, то сделает это не где-нибудь, а именно внизу, перед наружной дверью: там достаточно пространства для схватки, и нет никого, никто нам не помешает.

Я приготовился к бою, и тем не менее на мгновение запоздал уклониться: в тот момент, когда одна моя нога была на последней ступеньке, а вторая шагнула вниз, он резко обернулся, и тотчас тупой удар в лицо отбросил меня на перила. Наверно, секунды на две-три я, что называется, отключился, потерял сознание: все-таки это был первый случай в моей жизни, когда меня ударили так жестоко. Не привычна моя голова переносить такие удары. Для боксера это было бы ничто, для меня же...

Я опомнился, уже поднимаясь со ступенек, а не от перил: парня в шапочке «Адидас» уже и след простыл. Нет, не злое чувство, то есть не гнев и не злоба владели мною в эту минуту, и не испуг, и пожалуй, даже не бойцовский азарт – просто ошалелость.

Замешкавшись в дверях, я выбежал на улицу - кто-то мелькнул за деревьями скверика и скрылся. Разглядеть отчетливо, кто это, я не смог, поскольку очков на моем лице уже не было – это они хрустнули у меня под ногами, когда я ринулся к двери от лестницы. Теперь я на бегу сплюнул солоноватую

кровь вместе с выбитым зубом, при этом бормотал... нехорошие в общем-то слова произносил. В голове то ли шум, то ли звон, а точнее и то, и другое. Я не вполне управлял собой: руки и ноги двигались вразброс, несогласованно, и были словно ватные. Тем не менее мне хотелось только одного: догнать, догнать! Не дать ему скрыться. Схватка еще не закончена, она только началась, и если я проиграл первый раунд, что вовсе не означает моего полного поражения.

Как неблагородно, даже подло: ударить человека и трусливо удрать! Неужели он считает себя победителем? Неужели от этого можно испытывать удовлетворение? Как он потом самому себе объяснит и как себя оправдает в собственных глазах? Не могу представить себя на его месте: чтоб я вот так кого-то ударил и пустился наутек...

Выбежав на площадь перед афишным щитом, я жадно огляделся. Как жаль, что я лишился очков! Без них весь окружающий мир потерял четкие очертания.

Презренный Адидас растаял подобно нечистой силе.

10.

Лицо женщины выплыло передо мною, как из тумана:

- Что случилось? Вам помочь?

Прояснившись вдруг взглядом я прежде всего увидел ее прекрасные глаза, большие и исполненные сияния. И только потом она как бы проступила передо мной вся, то есть во весь рост, всей своей фигурой – крупная, статная женщина самого цветущего возраста – лет этак двадцати пяти – в прозрачном плаще с капюшоном, сквозь который можно было рассмотреть платье самого простого, домашнего вида. При скудном свете из окон ресторана, уже затихшего в эту пору, я мгновенно запечатлел в своем сознании и нежный овал подбородка, и прелестный пухлогубый рот – «поцелуистый!» – и прямой нос... В старых книгах определение «доброноса» прилагалось к красивым лицам, как одно из главных достоинств. Да, поцелуиста и доброноса была эта женщина.

Я уже где-то писал о загадочном явлении – обилии красавиц в заштатном городке Новая Корчева. – суть явления такова, что оно из ряда вон: нигде я не видел их столько – да и нет нигде, уверяю вас! А эту отличали удивительные глаза... о чем я с удовольствием упоминаю снова. Или горячее сострадание ко мне делало их таковыми? Вот уж изобретеньице природы – глаза человеческие! Просто диво дивное, и сравнить не с чем.

Да ведь мало того, что встреченная мною женщина была хороша собой, она еще и отважна оказалась: не обошла меня

стороной, не поспешила прочь от незнакомого ей человека с разбитым лицом, а подошла и предложила свою помощь!

Вот, кстати сказать, свидетельство мудрого устройства мира: казалось бы, я только что был повержен, унижен и оскорблен, и тотчас вознагражден: именно в этот отчаянный момент мне встретила такая красавица. А ведь не будь я побит, разве она подошла бы ко мне, разве спросила бы участливо: «Вам помочь?» Да не обратила бы ровно никакого внимания!

- У вас кровь, - сказала она, заглядывая мне в лицо. – Может быть, вызвать «скорую»?

Я пробормотал что-то, объясняя ей ситуацию, - чтоб не подумала, будто я пьян и упал! – парня того называл Адидасом и уже прикладывал ее платок к своей кровоточащей губе, не зная, что делаю.

- Он попался мне навстречу, - сказала она. - Да, да, в голубой вязаной шапочке и черной кожаной куртке. Наверно, спортсмен – очень легко, пружинисто бежал.

- Где он? – тотчас мобилизовался я.

- О, его не догнать! – воскликнула она и засмеялась. – Бежал так прытко!

Не забыть бы отметить: голос у нее оказался, признаюсь вам, просто чудным! Прямо-таки ангельски ласковый голос; он мог бы и умирающего исцелить, а меня приободрил одним звучанием своим и вернул душевное равновесие. Правда, равновесия телу моему он не вернул – голова кружилась, и земля время от времени странно колыхалась.

- Я провожу вас. Ведь вы живете на той улице, что на берегу Волги, верно?

Она не спрашивала, она просто дала понять, что знает, где я живу. Что тут удивительного? Городок у нас маленький, многие знают друг друга, даже не будучи знакомыми.

Мы прошли по лестнице, и тут, догадавшись о моем бедственном состоянии, она крепко взяла меня под руку.

Дожил, нечего сказать! Не я уже для женщины опора и защита, а она для меня. Я смутился немного от такой заботливости, но в то же время – что таить! – мне ее поддержка была очень кстати.

11.

По возрасту своему она, пожалуй, годилась мне в дочери, и мое восхищение ею было несколько отстраненным, созерцательным, с учетом моего солидного возраста. А будь я лет этак на тридцать помоложе, все было бы иначе! Да и она, наверное, вряд ли так смело взяла бы под руку молодого мужчину. В том,

что она поступила так со мной, был и горестный, милосердный смысл: увы, я уже не в сфере интереса молодых и красивых женщин. Но как бы то ни было, главное то, что она совершенно покорила меня. И хоть толкую тут о возрасте своем, все-таки я волновался от ее близости, как не волновался давно.

Шагая рядом со мной, моя спутница еще и еще раз озабоченно заглянула мне в глаза, как рефери на боксерском ринге: достаточно ли владею собой и не упаду ли, если она меня отпустит. Тут мы вышли на светлое место у магазина, и она остановилась, сказав:

- Вам надо умыться.

- Ничего, - пробормотал я. – Потом... дома.

Она подставила руку под водосток и мокрою рукой бережно провела по моей щеке. Я смущенно отстранился, но красавица сказала:

- Да подождите вы! Нельзя же так... Это небесная водичка, чистая.

Поймала уже обеими руками падающую с крыши магазина дождевую водичку и умыла меня; распахнула свой плащ и краем легкого шарфа вытерла мое лицо. Все это она сделала так, словно вправе распоряжаться мной, как мать или жена; я же почему-то покорялся, признав это право за нею.

- Заживет, - сказала она, и мы пошли дальше; рука ее прижимала к себе мой локоть.

Да, я где-то видел ее ранее и голос слышал. Вспомнил бы, конечно, если б не проклятое головокружение.

- Я этого Адидаса встречала у проходной фарфорового завода, - сообщила она мне. – Наверно, он работает там. Я его вычислю; обещаю вам, что по морде он обязательно схлопочет. Вам не надо беспокоиться: у меня есть добрые знакомые, они это исполнят с удовольствием. Не царское дело – наказывать собственноручно.

Мне очень понравилось ее выражение «схлопочет по морде», оно прозвучало как-то очень лихо. Понравилось и «не царское это дело».

- Да ведь он трус! – продолжала она. – Ему достаточно одной угрозы. Страх наказания сильнее самого наказания.

- Чего он так испугался-то? – озадаченно спросил я. – Ведь мы вышли честь честью, двое мужиков... Все преимущества были на его стороне: и возраст, и физические данные – рост, вес, тренированные мускулы, ширина плеч, объем грудной клетки...

- Что вы! Да он маленький, как клоп! – сказала она с великолепным презрением. – Только с виду большой, а на самом-то деле ничтожество с куриными мозгами.

Её даже отряхнуло от омерзения, и я до сих пор сожалею, что этот жалкий тип в вязаной шапочке не слышал сказанного. По-моему, для каждого настоящего мужчины такое мнение красивой женщины убийственно, после него только застрелиться.

Мы пересекли перекресток центральных улиц. Тут мотоциклетная смерть пронеслась мимо нас, едва не задев, и я поморщился от досады: сбились с хорошего разговора. К тому же я еще и покачнулся.

- Надо позвонить вам домой, чтоб встретили, - предложила она. – У вас дома есть телефон?

Тут она вдруг назвала меня по имени-отчеству, но я не сразу осознал это.

Разбитая щека болела и почему-то висок; ноги по-прежнему были словно ватные, а главное все-таки: голова моя, голова, что это с тобой? Видно, я ударился о бетонные ступеньки лестницы, когда упал. Пожалуй, лучше б мне теперь остаться одному, посидеть на скамье, прийти в себя.

- Вы идите домой, - сказал я. – Спасибо, теперь мне уже лучше.

- Нет, что вы! Я вас не оставляю, - решительно заявила она и опять назвала меня по имени-отчеству.

- Откуда вы знаете, как меня зовут?

- Мне ли вас не знать! – живо отвечала она. – Мы с вами знакомы двадцать лет. Между прочим, вы даже бывали у меня в гостях... правда, я тогда была еще маленькая, лет пяти. Зато я помню наши самодумчивые сказки, мы их вместе сочиняли.

После короткой паузы она пояснила:

- Вы дружили с моим отцом! Меня зовут Вита, вам тогда очень нравилось мое имя. А фамилию я себе оставила девичью, когда замуж выходила, - Ивлева.

Ах, вот в чем дело! Был у меня когда-то не то, чтобы друг, но хороший приятель, Сергей Ивлев. Но ведь он еще тогда уехал отсюда куда-то.

- Да, мы уехали, но тут живет моя бабушка. Я приезжала сюда каждое лето. А потом вышла тут замуж.

Верно, у Ивлевых была прелестная девочка, и мы с нею играли...

- Больше всего мне нравилась ваша сказка про белочку, которая жила в дупле огромного дерева. И вот мы стали ее ловить, забрались в это дупло, провалились по стволу вниз и оказались в подземном царстве. А там чистые реки, добрые звери, камни-самоцветы россыпями...

- По части глупостей я большой специалист, - сообщил я Вите.

- Какой вы смешной! – воркующе сказала она и ласково прижала мой локоть.

Признаюсь, я был смущен и взволнован этой ее лаской.

12.

Не знаю, как мы оказались в беседке того детского садика, что напротив аптеки. Ах, да, дождь припустил! Мы торопливо свернули к его калитке, а тут беседка-павильончик рядом, словно именно для нас. В беседке оказалось сухо, очень укромное, удобное место, чтоб посидеть вдвоем.

Я заметил только теперь, что красавица моя обута... в комнатные тапочки. Разумеется, они были насквозь мокрыми. А если женщина в полночь вышла из дому под осенний дождь и ветер в комнатных тапочках и в домашнем халате, наскоро накинув плащ, то уж верно у нее что-то случилось.

- Семейная катастрофа, - призналась она в ответ на мой вопрос.

- Катастрофа – это когда поезд с рельс долой. А у вас, небось, заурядная супружеская ссора – явление естественное и быстро переходящее в более тесный союз, так я полагаю. Завтра вам будет уже смешно вспоминать, как вы, разобидясь на мужа, вышли на улицу в комнатных тапочках и шлепали по лужам.

- Нет, - возразила она и покачала головой, и вздохнула глубоко. – Именно что с рельс долой.

Я не люблю вникать в семейные раздоры и не люблю выслушивать повествования о них, даже очень краткие. Да и Вита не склонна была рассказывать что-то.

Она вынула ногу из тапочки, погрела ее руками; потом вторую... И так хороша она была в эту минуту! Я вовсе не хотел, чтобы она ушла, и тем не менее опять посоветовал:

- Идите домой. Время позднее, да и ругаться с мужем сейчас не сезон, понимаете? Осень ... зима на носу.

- Я еле вырвалась, - сказала она тихо. – Он с ножом...

- Все настолько серьезно?

- Куда как!

- Ну, полноте! Он пошутил... Помиритесь и живите в любви и согласии.

Ее несчастье казалось мне легким, несостоящим. Поэтому я был так неразумен в дальнейшем разговоре. Неразумен – это легко сказано: я был преступно глуп.

В детсадииковской беседке на меня снизошло этокое доверчиво-детское просветление ума, и я стал жарко уговаривать

Виту вернуться к мужу. Я приводил убедительные доводы, и многие из них казались мне прямо-таки мудрыми.

- Примите в рассуждение и то, - говорил я, - легко ли быть мужем такой красивой женщины, как вы? Это тяжкий крест, поверьте мне: моя жена в свои молодые годы была первой красавицей на просторах земли размером этак в несколько областей. Я не спал ночами, боясь, что ее уведут. И чем красивей жена, тем тяжелее участь супруга. Будьте снисходительны и милосердны... Каждый человек – что яблочко: с одного боку зелено, зато с другого румяно. Ты умеи его, девица, повертывать!

Это одно из моих любимых присловий, извлеченных из какой-то старой книги.

- Вы так думаете? – спросила Вита, глядя на меня испытующе.

- Да! – сказал я убежденно.

Клянусь, я иногда умею быть красноречивым и могу убедить человека даже в том, во что и сам не верю. Но вот беда: я не в силах предугадать, к чему это приведет, - таково свойство всякого несовершенного ума, а моего тем более.

Теперь бесчисленное количество, снова и снова спрашиваю себя: зачем я не предложил ей пойти ко мне домой? Могу себе представить, какое хорошее впечатление я произвел бы на свою жену: муж вернулся с темной улицы с красивой женщиной. Уверен, что Катерина моя воодушевилась бы прежде всего потому, что может сотворить доброе дело: мы уложили бы гостью спать, а наутро отправились бы всей компанией к покинутому мужу и восстановили супружеское согласие. И все пошло бы у них иначе. Да и у меня тоже.

Но ничему этому не суждено было случиться единственно потому, что я вовремя не сообразил, как помочь Вите. Я не сумел направить ход событий в иное, более благополучное русло, а мог бы.

Одно мне оправдание: голова моя была не в порядке. Самая же трагическая закономерность, с которой трудно примириться, - невозвратность времени. Невозможно переиграть сыгранное, перекроить уже случившееся, поправить ошибку...

13.

Вита ушла. Она помахала мне рукой издали и скрылась за деревьями, за дождем и ночной тьмой.

Я же довольно продолжительное время сидел неподвижно. Грусть да печаль всецело владели мной.

Было слышно, как из Москвы примчалась последняя электричка. Стук ее колес раскатился по окраине Новой Корчевы и

заглох в шорохе дождя, в шуме ветра. - По-видимому, наступила уже полночь.

В той стороне, где большой мост через речку Донховку, взревывал мотоцикл... в другой стороне, где магазин, именуемый «лягушатником», зазвенело разбитое стекло... Но в ближайшем пространстве было тихо. Так тихо, что и мне стало хорошо в этой тишине. Я провалился в размышление глубокое, как бездна. И впервые, может быть, подумал, что...

«Нет лучшей музыки, чем тишина! / В ней магия, как в формулах и числах. / Она – стихия, и всегда полна / Высокого, торжественного смысла. / В ней волшебство... Всецело немота / Владеет мной – прекрасней нет мгновений, / Когда с полуулыбкой на устах / Пряду я нить бытийных размышлений. / Безмолвием вселенским покорен, / Как тайной православных евхаристий, / Я сознаю, как страшно отстранен / И близок свет непостижимых истин. / Медлительный и напряженный труд / Душе моей привычен и желанен. / Негаснущею свечкой на ветру / Блуждает мысль в пространствах мирозданий. / И музыка звучит в душе моей - / Торжественный хорал иль птичье пенье...»

Музыку в душе моей прервали две автомашины, туго набитые нетрезвыми парнями и, кажется, столь же пьяными девицами; из окошка задней автомашины торчали две ноги в женских туфлях. Автомашины промчались мимо садика, где я сидел, покрутились на площади перед торговым центром, отчаянно скрипя тормозами, - девицы визжали, парни хохотали – потом компания эта удалилась в сторону железнодорожного вокзала.

Я подумал, не вернуться ли мне на телефонную станцию. Я очень живо представил себе, как вот сейчас приду, а яйцеголовый Аидас стоит в телефонной кабинке. Я скажу ему: «А ну, выйдем, мужик». Выведу на улицу, а там... око за око, зуб за зуб! Мне мало будет, если этот трусоватый тип встанет передо мной на колени и со слезами на глазах попросит простить его...

Но что-то план этот и картина эта не воодушевили меня. К тому же я сообразил, что звонить в Москву уже поздно: те, что ждали моего звонка, - если, конечно, ждали – теперь уж спят, небось. Я встал и отправился домой. Головокружение все еще не прошло, пошатывало меня, и слабость была в ногах. Мне следовало как можно скорее лечь в постель да и уснуть: утро вечера мудренее.

14.

И вот по пути домой я вспомнил с необыкновенной ясностью ту прелестную девочку лет шести, с которой мы играли,

когда я приходил к моему приятелю. Сергей Ивлев и его жена уверяли, что Вита влюблена в меня, и мне это нравилось. Мы все так любим, когда нас любят! В мои тогдашние тридцать лет у меня был опыт общения с детьми: своих двое примерно того же возраста. Мы с Витой воздвигали из стульев, гладильной доски, диванных подушек, этажерки и прочего подручного материала нелепое сооружение, называемое «терем-теремок», забирались в него /заползали! / и рассказывали там друг другу сказки, нами же сочиняемые, пока родители девочки готовили на кухне праздничный стол по какому-нибудь поводу.

Ну да, я рассказывал про то, как возле Новой Корчевы в бору, за Пьяным мостом жила-была белочка в дупле огромного дерева; и вот будто бы, желая поймать ее, мы с Витой забирались в это дупло, находили в нем орехи и сушеные ягоды малины да черники, а потом проваливались по стволу в подземное царство, где и начинались наши приключения.

Эту сказку Вита очень любила и заставляла меня рассказывать снова и снова, обогащая всяческими немислимыми событиями, от которых девочка повизгивала в восторге или смеялась или грустила; она подсказывала мне возможные происшествия, и, надо признать, ее фантазия превосходила мою.

Наверно, потому, что я был очень погружен в эти воспоминания, или по иной причине, на ночной улице Новой Корчевы и случилось то, что случилось.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.

В эту ночь я не дошел до дома. На обратном пути через сквер почему-то свернул со срединной дорожки на тропинку, по которой, должно быть, мамы водят своих детей в садик, - в тот, что напротив аптеки, где мы только что сидели с Витой. Мимо фонарного столба в задумчивости или рассеянности шагнул я на проезжую часть улицы...

Я даже не понял, что это был мотоцикл: слишком поздно осознал нарастающий азартный рев мотора... как храп льва или тигра, в последнем броске настигающего жертву... ослепительный свет фары – в то же мгновение сокрушительным толчком меня отбросило в сторону, и голова моя ужасно грубо, неладом ударилась о твердое; удар был так силен, что я не почувствовал ничего.

Мотоциклист после нашего столкновения вылетел из седла и закувыркался на дороге; и сам мотоцикл скользил на боку за ним и заглох; впрочем я этого уже не видел и не слышал. Только потом, много времени спустя, узнал, что некоторое время человек в резиновых и кожаных доспехах лежал неподвижно, как и я, но все-таки встал, ошалело отряхнулся, прихрамывая, подошел ко мне, после чего торопливо поднял валявшийся мотоцикл, сел... Видимо, как раз в ту минуту, когда он удалялся, набирая скорость, когда рев его мотора замирал в конце улицы, под мелко сеющим дождем я и умер.

Так можно было записать в милицейском протоколе, если бы сюда явилась милиция. Но откуда ей было узнать о происшествии! Я не издал ни вскрика, ни стога – просто упал и лежал бесчувственно обочь дороги. Свидетелей не оказалось по причине позднего времени; а в ближних жилых домах уже спали...

2.

Поскольку смерть есть событие чрезвычайное в жизни каждого человека, я постараюсь поточнее описать, как это произошло со мною.

Смена состояний была так стремительна! Прежде всего: боли не было – просто мгновенная вспышка света, наверное, при ударе головой о бетонный столб... Кто-то, вроде бы, в пустоте, вскрикнул: а-а!.. Или – а-ах! – как бы ударили по жести где-то рядом. Эхо прокатилось во мне, сотрясая до основ то, что составляло мое «я», и тотчас мир обрел зыбкость, утратив земное тяготение. Невыносимое томление духа сменилось высшей мукой ужаса, от которого, наверное, зашевелились не только мои волосы, но и та мертвая, мокрая трава и облетевшая листва клена возле моей головы – это время было неопределенно долгим и непостижимо кратким... затем что-то разрешилось во мне, произошло разделение некоего единства – будто корабль отчалил от пристани... или медленно и неотвратно, повинувшись неведомой силе, раскололся каменный монолит... вопреки естеству раздвоилось нераздвоимое, разделилось неразделимое – и наступило состояние исхода и облегчения, почти блаженства.

Тут пришло поразительное озарение смыслом: ах, вот, оказывается, в чем все и состоит!

- Ах, вот в чем дело! – закричал я неведомо кому. – Я теперь понимаю, понимаю...

Мое «понимаю» относилось прежде всего к осознанию: мир разделен, как разделены земные стихии, скажем, вода и воздух над нею – я же пересек границу, преодолел разделяющую преграду, шагнул через роковой порог, что, собственно, и

было смертью. Там, где я оказался, все иное, и прежде всего иное освещение – не тот свет, привычный живущим, дневной или электрический – этот был теплым... пожалуй, серебристым... живым. И тишина... Опять-таки не то земное безмолвие, что, случается, нисходит на землю в час утренний или вечерний – совсем иное: тишина-пустота, тишина-покой, умиротворение.

Меня вознесло над землей, словно бы на восходящем потоке воздуха; при этом я поднимался сквозь скопления бесформенных, будто из белого пара или тумана состоящих существ – да, существ, но безмолвных и бесплотных, таких же, как я сам, только... непонимающих, не озаренных тем внезапным открытием, которое охватило меня. Я уже знал, что это просто спящие, что они мне отнюдь не ровня, потому как – живые, а я-то, увы, другой, другой.

Так бывает, когда купаясь в море, нырнешь глубоко, а потом всплываешь медленно и чувствуешь скользкие прикосновения медуз у самой поверхности, в теплом слое воды.

Я поднялся выше, сознавая себя уже в ином пространстве, которое, однако неотторжимо от того, что внизу, куда мне уже не было возврата.

Еще одно обстоятельство не упустить бы: в тот миг, когда невесомое отделялось от весомого, движимое от недвижимого, когда преодолен был роковой порог, я видел все то же, что и прежде, но иначе, узнавая и не узнавая. То есть та же дорога была подо мною, деревья, фонарные столбы – не черные, не зеленые, не серые, а в неопределенно-серебристом свете. Не было источника этого света, он существовал сам по себе, ровный и спокойный – помнится, я ничуть не удивился отсутствию светильников, но невольно отметил это. Удивление мое длилось не более секунды земного времени; я был увлечен, захвачен, прямо-таки одержим сознанием чего-то другого, что можно было назвать озарением, отчего иногда восклицал, неведомо к кому обращаясь:

- Ах, вот в чем дело!

Наверно, мне казалось, что я постиг разгадку жизни... и смерти.

3.

Прежняя земная привычка толкнула меня, я поспешил домой, движимый желанием поделиться тем, что открылось мне, словно это было счастливым бременем, которое жаждало разрешения. Тут надо сказать, что я перемещался отнюдь не благодаря физическим усилиям – не летел, как птица в воздухе, и не

плыл, как рыба в воде, и не шагал, как человек по земле, а вот именно перемещался согласно своему желанию или усилием воли.

Окна моей квартиры светились, я проник в нее, не считаясь с преградами материального свойства – прямо с улицы, сквозь стену, а не через входную дверь.

Не забыть бы: в лоджии я приостановился, оглянулся – передо мной был знакомый вид – площадь, Дворец Культуры «Современник», за ним широкий разлив Волги, за нею лесистый берег. Вид отсюда я очень любил и мог лицезреть его подолгу. Над тем лесом обычно в конце каждого земного дня разыгрывалась передо мной фантазмагория заката – зрелище величественное, оно неизменно завораживало меня. Несколько лет я прожил в этой квартире и каждый день мог наблюдать закаты... Что же, значит, я прав оказался, написав однажды:

«Может быть, этот дом – мой последний приют, / Поэтому его окна глядят на закат. / Иль проклятые думы меня в нем убьют, / Или грусть сокрушит, доконает тоска...»

Нет, грусть не сокрушила, и тоска не доконала – я просто угодил в так называемое дорожно-транспортное происшествие и погиб. Однако же предсказание мое оказалось пророческим – о последнем приюте земном.

«Может быть, этот свет из закатных окон / Просияет к исходу последнего дня. / И во веки веков будет памятен он / В мире том, где Господь ожидает меня...»

Я даже сочинил мелодию и любил напевать этот самодельный романс... когда был живым. Жена не могла его выносить, и не потому, что так уж плохо пою, просто ей слышалась в голосе моем обреченность.

- Как ты не понимаешь! - говорила она встревоженно. - Нельзя провоцировать потусторонние силы.

Теперь она еще не спала; по-видимому, ложилась, но снова вставала, обеспокоенная моим долгим отсутствием, а сейчас занималась на кухне мелкими делами, прислушиваясь к тому, что происходит на лестнице. А там ничего не происходило. Не слышно было ничьих шагов; лифт не шумел и не лязгал. Она хмурила брови и явно перебирала в уме укоризненные слова, которые скажет мне, когда вернусь: не в обычае мужа возвращаться домой так поздно, потому, наверно, она не знала, что и предположить.

Но вот странно: я вернулся, а она не обратила на меня никакого внимания.

- Послушай, что я узнал! – с жаром и воодушевлением начал я. – Оказывается...

Она не обернулась на мой возглас, не отозвалась.

- Все очень просто, - продолжал я. – Представь себе, я знаю, теперь, что такое смерть и что наступает вслед за нею...

Выражение ее лица не изменилось, и я понял, что она не видит и не слышит меня! Я замер и некоторое время смотрел на нее в полной растерянности. Лицо моей жены в эту минуту было несчастным.

Что-то забрезжило во мне, какое-то чувство, подобное далекому-далекому воспоминанию, где-то внутри, в том месте, где полагалось быть сердцу и где его теперь явно не было; именно живое чувство затеплилось во мне, когда я смотрел на эту женщину с таким знакомым лицом, в таком знакомом домашнем наряде. Глухое, невнятное эхо мягко прокатилось в душе... или где?

Тотчас некая сила повлекла меня в том направлении, где тело мое по-прежнему лежало на обочине дороги. Я увидел его издали и остался к нему не то, чтобы равнодушен, но... не почувствовал его. А потому возвратился на кухню.

4.

- Ты слышишь меня? – опять начал я и даже тронул свою жену за плечо, подергал за рукав. – Да обернись же!

Нет, она не слышала моего голоса, равно как и не ощутила прикосновения. Тогда я встал перед ее лицом, внятно и громко окликнул, но опять не добился ничего; она продолжала переставлять посуду со стола в шкаф.

- Катерина Осиповна пренебрегла Юрием Васильевичем, - горестно заключил я.

Слишком важное нас теперь разделяло – не стена и не пропасть, а нечто еще более значительное, и оно делало невозможным общение между нами. Это возмутило меня, и я напряг все свои силы, чтоб хоть как-то дать ей знать о себе, но достиг лишь того, что вдруг жалобно и тонко запели водопроводные трубы. Жена моя побледнела, растерянно вытерла полотенцем мокрые руки, опять прислушалась к тишине на лестнице.

Я смутился и неожиданно для себя попросил, не надеясь, впрочем, решительно ни на что:

- Послушай, случилась небольшая неприятность... Знаешь тот детский садик, напротив аптеки? Вот где его калитка, а за дорогой фонарный столб. Возле него я и лежу.

Нет, мои слова не произвели на нее никакого впечатления

- Сходи, - попросил я, - может быть, мне еще можно помочь. По крайней мере надо убрать с дороги, а то... унижительно для меня – валяться этак-то.

Что просить, коли она меня не слышит! Я сел за кухонный стол, где сиживал всегда за чаем или за едой, грустно посматривал на свою жену.

Мы прожили, не расставаясь, тридцать лет и три года. У нас был очень дружный супружеский союз: мы чрезвычайно редко ссорились. Еще скажу: у меня очень заботливая жена и заботливость ее по отношению ко мне говорит о том, что она меня любит. Но за сорок лет я ни разу не слышал от нее слов «я люблю тебя», «милый мой» или что-нибудь в этом же роде.

Где-то мною написано: «Встретилась бы какая-нибудь дура, сказала бы: «Милый мой, я люблю тебя» – ушел бы за ней хоть на край света». Но таковая дура не встретилась. Я смиренно люблю свою жену, не понимающую, что даже вот этой гераньке, которая на окне, надо говорить ласковые слова, а не просто заботливо поливать и смахивать с листьев пыль – только тогда она пышно зеленеет и охотно цветет.

Вот оттого написалось про «последний приют»:

*Может быть, может быть, я забуду тебя. / Твои веки,
так кротко смеженные к сну, / И обиду свою, что жила, не
любя, / Рядом с сердцем моим, в добровольном плену.*

Она сердилась на меня, услышав впервые эти стихи: «Зачем ты так написал?» И бурно протестовала против «добровольного плена». «Но ты никогда не говоришь мне «люблю», поэтому...». «Да что за глупости! – возмущалась она. – Раз я с тобой живу столько лет, значит, люблю. И больше ко мне с этим не приставай».

*«Но во веки веков будет помниться мне / Отраженье
небес в величавой реке / И герани цветков, как узор на окне, / И
слеза на моей озаренной щеке».*

Как мне было грустно сидеть тут невидимой тенью... со слезой на щеке. Опять жалобный звук послышался в водопроводных трубах.

Жена моя вышла в прихожую, я последовал за нею. Она оделась; мы вместе покинули нашу квартиру; я нажал кнопку лифта, но кнопка покорила только ее руке. Однако лифт остался неподвижен. Пришлось спуститься по лестнице, – я ждал уже на первом этаже. На улице она остановилась в нерешительности. По-прежнему шел дождь; лужа возле подъезда разлилась широко.

- Знаешь, ты поспеши, - сказал я виновато, пока жена обходила лужу. – Наверно, надо бы вызвать «скорую».

Она не слышала.

- Ну, пойдём же! – тянул я ее за рукав. – Кто знает, может быть, еще и можно помочь... Пойдем скорей!

Она постояла и пошла по направлению к торговому центру. Я же поспешил к злосчастному фонарному столбу и остановился над телом своим, поджидая ее. Лучше бы ей идти проезжей частью дороги, а не сквером: я понял, что она может не заметить меня, лежащего, – фонарь не горит, тут темно и к тому же кусты.

- Ну, посмотри сюда! – позвал я, когда она проходила мимо, и даже рассердился. - Ты что, не видишь?

Нет, она не оглянулась в мою сторону – должно быть, дождем слепило ей глаза да и ветром секло.

Я видел, как она дошла до почты-телеграфа, поднялась на второй этаж, где у переговорных кабинок было уже пусто, потом вышла на улицу и отправилась назад, домой. Мы оба, разочарованные, вернулись в свою квартиру.

Я занял привычное место на диване и погрузился в раздумье. В лампочках люстры чернели вольфрамовые пружинки... Сквозь стену, как на экране телевизора, проступали двигающиеся тени - соседи укладывались спать. Я оглядывался на бесцельно ходившую из комнаты в комнату жену – теперь что же, она уже вдова?

Опять во мне, как давеча, забрезжило жалостливое чувство, будто где-то глубоко-глубоко в душе запела птаха; непонятным образом именно вследствие этого меня вынесло из родной квартиры на центральную улицу, и я оказался возле своего неподвижного тела, вид которого был досаден мне, и не более того.

5.

Над телом моим этак на высоте уличного фонаря, остановились две фигуры – одна поменьше, другая побольше. Они были в привычном вертикальном положении, но не стояли, а как бы зависли, то-есть в них отсутствовала видимая тяжесть, присущая живым людям. То были именно человеческие фигуры, хотя имели не очень четкие очертания; однако же ясными были их лица, кисти жестикулирующих рук и босые ступни. Все остальное – то ли облако, то ли складки свободных одежд, то ли просто сгущения белого пара. Я оглядел себя и не смог различить своей собственной фигуры – но ладони рук и ступни уже босых ног были ясно видны.

- ...неправильно ехал! – наставительно, будто школьный учитель, говорил тот, что повыше ростом. – Тут же одностороннее движение. Я видел сверху, как он мчался... нарушил правила!

Собеседник отвечал ему голосом, что называется, прокурренным и пропитым, с наглой и грозной хрипотцой:

- Какие тут правила, если ночь! В эту пору хоть вдоль, хоть поперек.

- Важен порядок, Василий! Он не имел права так ехать... И вот, пожалуйста: сбил пешехода.

- Ничего, - то ли засмеялся, то ли закашлялся Василий. – Годом раньше, годом позже – какая разница! Все равно помирать.

Голоса их хоть и сохранили индивидуальные особенности, но были до содрогания безжизненными. Один из собеседников, тот, что выше ростом, держал в руке подобие батожка, на который то опирался, то помахивал им не без щегольства.

- Небось, выпил у тещи на именинах, на бровях домой шел.

- По себе судишь, Василий, по себе.

- Да все выпить-то не дураки, чего там! Одни пьют в открытую, другие в уголку, тайком. Я вот никогда не скрывал – пил и все тут. Коммунары не будут рабами, понял?

Словно порывом ветра подхватило этого Василия и понесло в сторону. А тот, что остался, только теперь заметил меня.

- Ваше? – спросил он, указывая батожком вниз.

Это о теле моем, распластанном на обочине дороги.

- Научно-технический прогресс собирает с общества дань человеческими жизнями, - сказал он. - Небось, вы и виноваты?

А я мгновенно вспомнил, как вступил в сквер со стороны торгового центра, как шел по аллее, размышляя о девочке Вите и наших сказках. Я был тогда в глубокой задумчивости...

6.

Боже мой, если б только я не шагнул на дорогу, а задержался на той тропинке всего на одну-две секунды – мотоциклетная смерть пронеслась бы мимо, и все совершалось бы своим обычным, привычным порядком: я дошел бы до дому и сейчас мирно укладывался бы спать.

Как нелепо, из-за сущей мелочи я погиб! Всего один шаг с тропинки на дорогу. Из-за такого пустяка... потеряна жизнь. Я начал сознавать цену того достояния, которым обладал и которым распорядился столь небрежно. А оно хотя бы в том, что можно лежать дома на диване и читать при свете ночника... а рядом, в соседней комнате, спала бы жена, спокойная, не объятая тревогой.

Кстати, как талантливо она спит! Наверное, переход ко сну у нее начинается уже в те минуты, когда она еще только уклады-

вает постель – движения замедленны, вид рассеянный. Спросишь: «О чем ты задумалась?» - «Я? Ни о чем. Так...» А голос уже сонный. Потом раздевается и ложится; некоторое время я слышу, как она шевелится, ища самое удобное положение, подбивает подушку, одеяло. Но вот затихла и – все. Избави Бог ее в эту минуту потревожить: окликнуть или поцеловать. Будет очень сердиться и на другой день устроит великий разнос с упреками в жестокости, бездушии и более того.

Когда мы спали вместе, то есть на одной постели, я угадывал момент ее «отплытия в сон» по едва заметному вздрагиванию тела, и это меня всегда смешило. «Ну, все, кончается, - думал я, едва сдерживая смех. – Предсмертные судороги...»

Сон – это маленькая смерть. Так сказать, тренировочная. Но все-таки сон есть жизнь. В нашем же супружеском единении я ощущал сон, как разлуку: мне было досадно, что мы видим разные сны, что во сне лишь наши тела рядом, а сами-то мы врозь. Это огорчало меня.

«Любимая, прощай, пора ко сну. / Опять он нас надолго разлучает. / В последний раз губами прикоснусь / К твоим губам... как этот миг печален! / Я день прошедший был тобой любим / И счастлив тем, что находился рядом, / Взволнованный дыханием твоим, / Завороженный голосом и взглядом...»

Свояченица, приехавшая к нам однажды в гости и отметившая мою привязанность к жене, сказала:

- Это что-то ненормальное. Посоветуйся с психиатром.

- Мадам, - отвечал я ей со смехом. – Это любовь! Тут ничего не поделаешь. От нее нет исцеляющего лекарства. Это любовь, мадам!

Улица с односторонним движением...

7.

Человек с батожком о чем-то спрашивал меня; я же, занятый своими мыслями, не слушал его. А он повторил:

- Кем вы были... в миру? Я имею в виду: до вашей трагической гибели вот сейчас на улице.

Потрясающий вопрос: кем я был? Тут два ключевых слова: «кем» и «был». Уже только в прошедшем времени. Да еще «трагическая гибель».

«Мы с ним стояли на сыром ветру, / Нас морозящий дождь кропил при этом. / Он спрашивал: «Кем были вы в миру?» / И я сказал: «В миру я был поэтом».

- Так-так... - понимающе улыбнулся Батожок, непонятным образом поймавший мою мысль – Я слышал о вас. Говорили, что

поселился, мол, у нас в Новой Корчеве литератор... член Союза писателей. Очень приятно познакомиться.

Мы любезно раскланялись.

- Что же, - сказал он, окинув меня благожелательным взглядом, - вас будут хоронить с оркестром и официальными представителями. Это ничего, что вы ссорились с властями, они должны исполнить долг в отношении такого покойника.

Вот, пожалуйста, еще словечко: «покойник». И это обо мне.

- Наверно, в районной газете поместят некролог с вашим портретом.

«Некролог?.. обо мне?» – удивился я, найдя это совершенно нелепым. То есть неприложимо было как-то...

- В каждом городе есть чтимые усопшие, - продолжал Батожок. – А без них что за город! Иногда и незначительное лицо возводится в герои, ему присваивают звание почетного гражданина. Так что в случае с вами надо и достойное место для могилы найти, и факт смерти отметить в местной печати. Светлая, мол, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах... и все такое.

Он еще раз оглядел меня и продолжал размышлять вслух:

- Нынче похороны дороги, - он покачал головой. – За рытье моей могилы запросили у жены... вдовы, значит, всю ее месячную пенсию! Может быть, при ваших похоронах администрация города оплатит и гроб, и венки, и рытье могилы?

- Не-ет, - сказал я убежденно и улыбнулся. - Я их огорчал... непочтительным поведением, публикациями в газетах и журналах...

- Как же вы так... неосторожно?

- Так уж получалось... само собой.

- А мне очень хотелось прожить так, чтоб меня похоронили подобным образом: за казенный счет и с произнесением торжественных речей, - доверительно признался Батожок. – Ну, и конечно, чтоб мраморную плиту: мол, здесь покоится... член партии с такого-то года... и так далее. Но вот не уважили, знаете ли, при похоронах, не уважат потом и могилу... хотя я верой и правдой... Жаль, очень жаль.

Я уже не слушал и подался от него боком, боком...

8.

Понесло меня, будто легкое перышко ветром, куда-то в сторону, сквозь дома, сквозь квартиры со спящими людьми...

В темной комнате молодая женщина полулежала на кровати, спустив к полу босые ноги, откинувшись спиной на подушки и положив руки по бокам большого живота. Она плакала. Я не успел понять причины ее слез и подумал:

«Ну, что ж, пусть плачет... но это жизнь!».

В другой комнате, то ли в этом же доме, то ли в соседнем, куда меня занесло, ребенок лет полутора ревел в полную силу легких. Мать поднялась с постели, взяла его на руки, а он продолжал свой рев...

И они жили, жили!

Рядом за стеной – а может быть, дальше? – праздновалось, по-видимому, новоселье: вещи еще не нашли своих мест, светили голые электрические лампочки, но люди, собравшиеся за столом, были веселы, говорили, перебивая друг друга, хохотали... А стол был сервирован наскоро: рыбные консервы в банках, отварная картошка в кастрюле, куски вареной курицы на листе бумаги, хлеб крупными ломтями, соленые огурцы в суповой тарелке...

И это была жизнь.

Двое, мужчина и женщина, лежали в постели и, не зажигая света, тихо пели. Их дети - в соседней комнате: мальчик в глубоком сне без сновидений, а старшая сестра его, лет десяти, как раз пробудилась, послушала поющих родителей вместе со мною, улыбнулась и тотчас заснула.

И это была жизнь, настоящая, счастливая.

Мужик сидел в ярко освещенной кухне, уперев угрюмый взгляд в стол. На столе перед ним стояла бутылка водки, стакан с жирными отпечатками пальцев, банка с солеными грибами, прямо на столе лежал большой соленый огурец с опавшими боками. Мужик был в промасленной робе.

Кажется, именно его я видел в кабине фантастически грязного ковшового экскаватора, на кабине которого проступала сквозь грязь гордая надпись

«28 ЛЕТ БЕЗ КАПРЕМОНТА».

Цифра, между прочим, каждый год обновлялась, возрастая. Впрочем, может быть, и не он был в той кабине.

Жена его, уже раздетая, гневная, встала в проеме двери.

- Долго будешь колобродить?

- Я у себя дома. Что хочу, то и делаю.

- Ты хоть бы умылся, мазутная харя...

Он погрозил ей кулаком:

- Жена да убоится мужа своего...

И это тоже была жизнь.

Опять подхватило меня, словно ветром, и понесло... через дома со спящими на кроватях да диванах людьми... Между прочим, иногда я узнавал кое-кого из них.

Я хотел найти трусливого Адидаса. Не знаю, зачем он мне понадобился; ведь отомстить ему я не мог бы теперь, да и желания такого, признаться, не было, разве что любопытство: что за обормот? Как его понять: ударил человека и убежал...

Но чаще заносило меня в квартиры, где спали незнакомые мне люди. Впрочем, спали не все.

Неведомо как я оказался на своей улице. У меня не возникло желания снова наведаться домой, я просто спустился к Волге, в том месте, где сосны и городской пляж.

На тропинке, ставшей длинным изогнутым корытцем в земле, прибило палую хвою с сосен, и стояла дождевая вода длинными лужами. Я шел тут, отнюдь не разбрызгивая ее, - невесомый. Ни человеческого возгласа, ни птичьего свиста, ни мышиного писка не раздавалось тут – только ветровой шум в соснах да шорох тяжелых капель, падающих с веток. Волжский плес был мрачен; противоположный берег лишь едва-едва угадывался, скрытый темнотой, дождем и низкими облаками.

Не лучшая ночь выпала мне для последнего земного происшествия. Я знавал здесь и лучшие времена.

Ах, какие закаты разыгрывались тут передо мной! Сядешь, бывало, вот там, на краю берегового обрыва, - и ты в кресле амфитеатра, а глубь волжского плеса - как оркестровая яма, за которой авансцена того берега, и над нею вздымается занавес из световых потоков, за которым само действие: солнце садится, щедро расплескивая краски по всему небосклону.

«В коловращенье шар земной! / Весь этот мир летит куда-то. / И вот опять передо мной / Фантасмагория заката / Опять толпятся облака / Венцом закатного светила, / И величавая река / Их величаво отразила / Какая это красота! \ Стою, в смятенье чувств немея, / Как пред «Явлением Христа» / Или «Последним днем Помпеи...».

Облака, окрашенные во все цвета радуги от аспидно-черного и фиолетового до золотистого и кроваво-красного, перемещались в борении света и тени, в переливах, в отсветах, в бликах... Иногда облака эти казались мне живыми существами, это когда выстраивались они полукругом и смотрели на опускающееся за край земли солнце. А по сторонам от этого места то ли тени косо падали на землю, то ли бродили по самому горизонту дожди.

Фантазмагория, да... Порой от созерцания ее меня охватывал трепет, словно я становился причастным к некоей все-ленской тайне, разгадать которую равносильно смерти; она неподъемна, эта тайна, для человеческого разума. Казалось, если вдруг озарит тебя ее разгадка, тут и умрешь от потрясения.

Теперь, что же, больше не гулять мне здесь? Не сидеть на обрыве, созерцая очередную небесную фантазмагорию? И не купаться в Волге в жаркий день или теплый вечер? А самое главное – не выуживать стихотворные строки, составляя сонеты, элегии, стансы... не слагать од и эпиграмм во славу соседей и знакомых или для сокрушения своих врагов? Неужели все это теперь потеряет смысл и значение? Сколько бы ни говорил, что стихи мои предназначены для «внутреннего» употребления, хотя бы один или два читателя, один или два слушателя-ценителя мне все-таки нужны.

Но с другой стороны... Наверное, я буду избавлен от созерцания подлых сцен, коими изобилует наша Новая Корчева, и ничто не вовлечет меня в постыдные дела (мордобой и всяческая пря) помимо моей воли.

Разве не здесь, не на этом берегу то было? – шел я вон там по приплеску песчаному, а неподалеку от меня к пляжу причалила моторная лодка. В ней трое: два парня и девка – все пьяны. Один из парней вылез на мелководье, громко матерясь, вытащил лодку на берег; из нее с трудом выбралась их подруга.

И вот дальше произошло то, что и ныне бессильной яростью отозвалось во мне: парни отцепили лодочный мотор, велели девке опуститься на карачки... она послушно исполнила это, и они, матерно ее же ругая, взгромоздили ей на спину лодочный мотор, в котором, небось, не менее тридцати килограммов веса. Она попыталась встать и не смогла... Повалилась на бок. Поднялась, опять заняла ту же позу... опять взгромоздили на нее мотор...

При ясном свете дня, божье подобие – человека! – низвели до положения существа скотоподобного. То было унижение не одной лишь пьяной девки и не этих двух парней с мордохарями, но и мое унижение тоже, и всех, кто стал невольным свидетелем, а значит и участником происходящего, и виновным в нем / а народу было немало, все скамьи по берегу заняты/ - оскорбление царственной реки, корабельных сосен на берегу, высокого неба...

Кстати, берег этот злосчастный – позор нашего города! Тут пестро от брошенной бумаги, полиэтиленовых пакетов и прочего мусора. Тут городской пляж, но не пройти босиком до воды, коли захочешь искупаться, – повсюду осколки от разбитых бутылок и гнусный собачий помет: состоятельные граждане города выгу-

ливают на пляже псов, приговаривая: «Любая собака лучше любого человека».

Теперь я встал и покинул этот берег, неся в себе холодную, мертвенную пустоту, которая как бы возрастала, занимая во мне все больше места.

10.

Человек с батожком опять оказался рядом! Он обратился ко мне с исключительной вежливостью:

- Путешествуете? Поначалу, действительно, бывает занято. А потом притупляется интерес.

Чтоб поддержать беседу, я спросил:

- А вы кем были... в миру?

Вопрос мой доставил ему явное удовольствие – это отразилось на его лице.

- Как вам сказать... Я занимал разные, многие должности; мне доверяли. Восемнадцати лет от роду был назначен председателем поселкового совета Осивиахима, меня избрали даже членом бюро комсомольской организации. Мы сплотили молодежь, вели большую работу против церковников...

Произнося последние слова, он понизил голос и с опаской посмотрел вверх.

- Потом я работал в земельном отделе, оттуда меня выдвинули на руководящую должность – заведующим райтопом... и так все время на руководящих постах.

Белый силуэт большой собаки всплыл неподалеку; собака повернула голову, посмотрела на нас и вяло поплелась в сторону. По расплывчатым очертаниям я угадал, что это очень породистый пес. Кажется, ньюфаундленд. Что означает его появление здесь?

Я вопросительно посмотрел на собеседника, но тот проводил пса равнодушным взглядом и продолжал:

- У меня была богатая событиями жизнь: на скольких совещаниях я присутствовал! На заседаниях бюро, на партийно-хозяйственных активах... на сессиях райсовета. Так что я могу быть доволен.

Он, действительно, имел вид довольный... как человек, исполнивший свой долг.

- А как вас сподобило сюда? – поинтересовался я. – Вы же дорогу переходили всегда на зеленый свет, так я полагаю.

- Да, я жил, как по тонкой жердочке через ручей шел - осторожно, осмотрительно. Я был удачлив в жизни и умер благополучно, ненасильственно. В родном, знаете ли, доме, под рыдания близких...

Я забываю упоминать, что где б ни находился, оказавшись тут, в новом пространстве, поблизости появлялись и исчезали неясные фигуры этакого эфирного свойства; иногда я слышал даже обрывки фраз, произносимых ими, или даже смех. И еще все время у меня было такое чувство, будто я открыт со всех сторон беглым или внимательным взорам. Однажды услышал даже знакомый голос, заставивший меня оглянуться: кто-то совсем близко проследовал мимо, говоря с неповторимо печальным выражением:

- Мне одиноко... поговорите со мной.

Это был тот самый голос, слышанный мною в телефонной трубке в моей земной жизни. Он опять упомянул – не для меня, а кому-то – о вселенском ветре, который носит его, и о том, что нескоро ему быть в Милете. Я решил, что обязательно потолкую с ним, но он исчез.

Две женские фигуры плыли или шагали в некотором отдалении от нас. Они заинтересованно оглядывались в нашу сторону: мы, беседуя, не стояли, а словно бы посиживали в «креслах» над музыкальной школой, которую у нас в Новой Корчеве зовут музыкально-фекальной из-за сильнейшего запаха от вечно неисправного канализационного колодца тут, в низинке. Теперь-то зловоние это не ощущалось, мы были для него недоступны.

А эти женщины остановились над магазином, который любовно зовут «лягушатником», поскольку он в низинке. Собака, недавно всплывшая, кинулась к ним со сдавленным лаем. Одна из фигур отшатнулась испуганно, а другая приласкала собаку: наверно, знакомая.

«Ужасна весть: душа нетленна / Исторглась из-под ребер пса, / Любимого ньюфаундленда, / И с лаем устремилась в небеса...»

- Гуляют, - заметил я, чтоб поддержать разговор с моим собеседником..

- Пребывают, - поправил он меня. – Нам всем определена программа пребывания.

- Что за программа?

- Узнаете, - загадочно отозвался он. – Хотя, собственно секрета нет: третий день... девятый... сороковины... если поземному. Тут другой отсчет, тут времени нет. Но для понятности будем считать привычно на дни и недели. Я вот уже седьмой день тут.

Голос его понизился до шепота, стал таинственным:

- После сорокового дня сюда уж не возвращаются – это срок окончательного приговора, день прощания. Кстати, сегодня кого-то из наших будем провожать.

Он почтительно возвел очи ввысь.

Я, пожалуй, только теперь заметил, что там, в невообразимой вышине, среди звезд, переливавшихся всеми цветами радуги подобно капелькам росы, затмевая их, сиял тоже сам по себе иной свет, такой же, что и вокруг нас, но гораздо более яркий и взволнованный... Да, именно взволнованный! Я не могу найти более точного определения, потому и употребил это слово. В том свете растворено было некое духовное напряжение, оно все это время нисходило на нас сверху, мы чувствовали его, хотя и не сознавали источника.

11.

- Вы верующий? – осведомился у меня человек с батожком.

Верующий ли я? Это я и сам хотел бы узнать.

- Ясно, - отозвался он, видя мое затруднение.

- А вы? – спросил я в свою очередь.

- Я матерьялист, - отвечал он с большим достоинством. – То есть верю только фактам. Если явится сейчас перед нами Христос – как я могу не поверить в его существование? Поверю! Хотя бы и Бог-отец – то же самое. А если, знаете ли, одни разговоры... что будто бы где-то кто-то есть...

- Разве вам еще не было предъявлено никаких фактов?

- Пока что ничего. Мы как бы в карантине... идет как бы дознание, следствие, а высший суд – потом.

Я слегка опешил.

- Что за дознание?

- Вызывают, допрашивают, обличают в грехах. Узнаете в свой срок! – уклончиво объяснил бывший заведующий райтопом.

- Что с вами было на третий день? Ведь это какой-то знаковый рубеж.

Он поведал этак осторожно:

- Упрекали в многоглаголании, пустословии, празднословии. Что ж, я не отрицал. А вот сквернословие – нет, говорю, не грешен. А они мне все припомнили: и то, что в детстве было, и в юности... Там у меня и кощунства имели место, и пение неприличных песен о Боге и священниках...

Я мимолетно с облегчением подумал, что за мной подобного греха не водилось: песен таких не пел.

- Долго они меня так-то уличали: то в чревоугодии, то в клевете, то в прелюбодеяниях. Бессмысленно отрицать и записывать! У них там все записано... на скрижалях.

Тут я призадумался. Сказанное им все более озадачивало меня.

- А кто они – те, что допрашивают?

- Увидите.

Он явно уклонялся от ответов. Из осторожности, ему присущей. Но я был настойчив:

- А как вас позвали? Окликнули оттуда, сверху? Или дали какой-то знак, и вы поднялись туда?

- Нет, они спустились... как я понял, это простые служащие, не главные. Двое. Не представились, никаких отличительных знаков не имели, удостоверений не предъявили. Да и сам допрос был... в форме дружеской беседы. Они интересовались моим прошлым, на мои вопросы не отвечали. Вообще вели себя обходительно, интеллигентно, вежливо. Я очень духом упал, когда все открылось в процессе дознания, но они ободрили, обнадежили. Говорю же: обходительные такие. А вот послезавтра вызовут меня на более высокий уровень... там строже. Оттуда наш брат возвращается уже иной – задумчивый.

Я озаботился, как перед важным экзаменом, который мне предстоял, а собеседника моего как бы отнесло от меня ветром.

12.

Я же оказался на главной улице, над своим распростертым у фонарного столба телом: нет, еще никто не нашел меня, никто не поднял.

«Странно, - сказал я сам себе. – Сбили человека мотоциклом, и никому дела до этого нет. Всем наплевать, что ли? До сих пор не нашлось никого, кто побеспокоится. Ведь лежу-то на мокрой земле, простужусь. Хотя... какая ж теперь простуда меня проймет?»

Напрасно я сетовал на невнимание: из-за того дома, в котором зал бракосочетаний, показался бодрый человек; он шагал по середине дороги, не опасаясь никаких машин, и уже прошел мимо, не заметив меня, лежащего, но остановился и вернулся.

- Эй, друг! – окликнул он. – Ты чего здесь загораешь? Солнышка-то нет!

Не дождавшись ответа, оглянулся, опять окликнул:

- Эй ты, дурдом!..

Пнул меня легонько, потом присел рядом на корточки.

- Радикулит словишь, - сказал он заботливо и вороватым движением сунул руку в карман моего плаща. – Чего хоть принимал-то, а? Надрызгался...

И полез уже во внутренний карман пиджака, что-то переложил оттуда себе.

- Принимал-то, говорю, чего?

Что он мог вынуть? Ах, да, деньги... Ну, невелики...

- Э-э, - сказал он вдруг, вытер руку о мокрую траву и зашагал прочь, скрылся за деревьями сквера.

Увиденное притупило во мне любопытство ко всему окружающему. Я закрыл глаза и отдался, как говорится, на волю волн. Меня медленно возносило над деревьями, над домами, и я опять почувствовал себя среди тех странных сгущений воздуха или света, которые в прошлый раз не очень удачно сравнил с невесомыми медузами. Но теперь, отдавшись во власть окружающей стихии, я каким-то образом мог созерцать их жизнь. То была именно жизнь, только призрачная, странная, зыбкая. Все менялось у меня на глазах, и было мимолетно, как в мире привидений. Я видел:

вот мальчик ощутил вдруг собственную невесомость и полетел, раскинув руки.

- О-о-о! – кричал он в восторге. – А-а-а!

под ним проплыло дерево, пруд, а с пруда лодка поднялась к нему и тоже полетела, а он уже в ней и махал вёслами, как крыльями, пока не исчез...

вот молодой невзрачного вида мужичок в объятиях призрачных женщин, ласкающих его, - на лице мужичка выражение, которого мне лучше бы не видеть... и он пропал...

вот старик на дороге притопывает, притопывает правой ногой; но из придорожной канавы кидается на него полусобака-полусвинья и впивается зубами ему в коленку; старик падает и стонет, стонет, растворяясь в дымке...

вот встретились двое: пожилая женщина и старуха. «Мама, - сказала пожилая. – Это ты?». А та ей в ответ: «Не видела ли ты... я где-то потеряла». – «Что потеряла?» Старуха, не отвечая, искала что-то. «Да погоди, мам! Давай поговорим...» – «Нет, потеряла, потеряла...» – бормотала старуха и отплывала прочь...

вот девушка идет по тропинке, а ей навстречу на велосипеде голый парень, на раме у него другая девушка, тоже голая. «Как вам не стыдно!» – возмущается одетая. «А тут так полагаются, - весело отвечают ей. – Иначе не пускают» – «Куда?» – «Да в институт!»...

вот лохматая собака лает на младенца, и плачет младенец, плачет...

вот женщина спускается по обрыву вниз, а с обеих сторон от нее водопад; женщине страшно, она охает и от страха, и от восторга, а потоки воды обращаются в лед, радуги играют в них;

камни под ногами женщины становятся скользкими, в них вспыхивают огни, как в электрических лампочках...

Подобные картины, одна другой нелепее, проплывали передо мною или сам я проплывал мимо них. Я тут был вроде свидетеля или даже соглядатая, а потому чувствовал неловкость.

13.

Мое внимание опять было привлечено тем мягким светом, который я назвал взволнованным, что сиял высоко надо мною. Там что-то двигалось, перемещалось... Мне хотелось подняться, приблизиться к нему, но я понимал, что мне туда рано, что мое появление там преждевременно. Я понимал и то, что к этому горнему свету нельзя являться без зова, да и не явишься, потому как сил на то нет. Надо смиренно ждать здесь, возле земли, не выше уровня полета ласточек и черных воронов. Осознав, что я несвободен и не могу ни вернуться к прежней своей жизни, ни подняться к жизни будущей, к горним высям, где, надо полагать, определено будет мне дальнейшее бытие, если, конечно, это можно назвать бытием, я испытал приступ невообразимой грусти. Опять во мне образовалась великая пустота, в которой могло звучать лишь эхо живой жизни. Одно только эхо.

Я мысленно проследил последние события своего земного поприща, то есть те, что совершались в нынешний ненастный вечер, и поразился их бессмысленности.

Вот хоть бы тот неосторожный, легкомысленный шаг на проезжую часть улицы, после которого я из живого стал мертвым... Зачем я шагнул!? С какой целью пошел тут, а не иной дорогой? Что меня повлекло? Почему я вообще вышел из дому в этот вечер – в том не было особой нужды! Для чего я затеял все это?

Просто поразительно, от каких пустяков зависит твоя жизнь, твоя судьба, даже пресечение того и другого, именуемое смертью. Земная жизнь самоценна / говорится: человек – это космос! /, и каждый из нас будто бы создан по образу и подобию Божьему... Но если так, то почему, скажите мне, почему столь зависимы жизни и судьбы наши от сущих пустяков? Таких, как шаг с тротуара на проезжую часть улицы. Поскользнулся ли, пошатнулся ли человек – царь природы! венец всего живущего! – и попал под колесо. И все! Конец.

Будь ты хоть Шекспиром или Цезарем, мудрецом или шалопаем, почтенным гражданином или презренным пьяницей – участь у всех одна. Ни совершенства ума, ни исключительно высокие нравственные качества, ни заслуги перед Отечеством

или всей цивилизацией, ни дивный талант – ничто не защитит тебя в глупом происшествии, цена которому – твоя жизнь.

Разве это не ставит под сомнение смысл отдельно взятой жизни или смысл существования всего человечества?

Все повороты моей собственной судьбы, если разобраться, - отчего они? Опять-таки от нелепых случайностей, от тех же суших пустяков и глупостей.

Например, однажды в детстве я спрыгнул с грузовика... и то ли нога поскользнулась, то ли я задел ею за борт, но упал на дорогу-каменку вниз головой, руку сломал в локтя. От сущего пустяка – просто неверный шаг – судьба повернулась круто: больница... изуродованный локоть руки... в шестом классе пришлось учиться два года... и уж в армию служить меня не взяли...

Или вот еще: сдавал я вступительные экзамены в техникум, и на самом решающем – по математике – выпал мне счастливый билет – на все вопросы я знал ответ, задачу решил верно. И вот тут по беспечности своей да по рассеянности я принялся потихоньку тыкать циркулем в парту – преподаватель увидел, разгневался и вместо достаточной «четверки» вклеил мне «тройку», хотя я ответил на «отлично» – в итоге не прошел по конкурсу!

Это что же, глупость и бессмыслица влекут такие важные последствия? От простого тыканья циркулем в парту повернулась судьба! Кто же и что же тогда правит миром?

А если это так, то чего же стоит жизнь? И почему она столь не защищена? Если скажем, в человеке самые нежные части тела – мозг, сердце – укрыты броней из костей, то жизнь, как таковая, не имеет защиты и запаса прочности. Несчастную ситуацию не переиграть заново, не вернуть ни мгновения, ни движения. Следовательно, природа устроена по таким законам, что изначально человеческая жизнь не стоит ничего. Безделица это, вот и все.

Таков был ход моих юношеских мыслей когда-то давно. Увы, они и теперь текли в том же самом русле, то есть за десятилетия прожитой жизни ясности в уме не наступило.

14.

В этом дурацком дорожном происшествии пострадал, между прочим, не я один, а и мотоциклист. Я представил себе тот мгновенный всплеск ужаса в нем, когда он мчался и увидел вдруг прямо перед собой прохожего, когда ощутил страшный толчок. Молодой и бесшабашный он отнюдь не намеревался

сбивать кого-то с ног и уж тем более не входило в его намерения сделать из меня мертвеца.

Мне стало жаль его. Ведь он невиновен, поскольку был уверен, что в эту полуночную пору на улицах пустынно и никто не шагнет прямо под колесо его мотоцикла. И вдруг какой-то рассеянный идиот... это я идиот, я!.. который должен видеть свет фары, слышать рёв мотора, шагнул, как сумасшедший или самоубийца, под свет и рев. Мотоциклист наверняка ударился об асфальт... Парень этот не остался лежать на дороге, как я, ему все-таки повезло больше, чем мне, - то слава Богу! Но разве не испытал он боли? Это еще не все: теперь его непременно вычислят и будут судить... за убийство. Пусть непреднамеренное, но все-таки убийство.

Вот сейчас, небось, сидит он у себя дома с ощущением случившейся беды, и рядом с ним, возможно, горюет мать или жена. Не обо мне, мертвом, горюют, а о нем, о живом. Меня же, небось, клянут, как виновника несчастья. И они правы! Ведь это случилось из-за меня, из-за меня!

Вот и тот, кого я именую Адидасом... да, он хам порядочный и трус, но не я ли пробудил в нем эти далеко не лучшие качества? Значит, опять моя вина. Я старше и должен был покорить его вежливостью. Я же с такой охотой вышел с ним... Зачем? Чтоб подраться. Не глупо ли?

А перед тем я помешал кулачной беседе трех мужичков – мое ли дело встревать в их дружескую потасовку. Чуть ранее возмутил трех женщин, мирно сидевших в скверике и обсуждавших какие-то свои дела...

Этот город не любит меня, но у него есть к тому веские причины!

Я вспомнил весь этот последний день... и два дня, и три... и всю предыдущую неделю... Мне стало ясно, что моя жизнь протекала в плену глупых представлений, наивных пристрастий, примитивных соображений и рассуждений. Кто-то очень насмешливый и коварный все время побуждал меня к бессмысленным и даже предосудительным поступкам.

Наверно, прежде я глубоко и страдальчески вздыхал бы, размышляя столь самокритично и самообличающе, но вздохи и стенания – это удел живых, а во мне лишь жалобно и тонко, как зубной нерв, отозвалось что-то при этих мыслях, и только. Мертвенность и пустота владели мной.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. _____

Итак, я осознал в полной мере, что пир жизни для меня закончен. Едва мне пришло на ум это слово – пир - как дальнейшее течение событий приняло неожиданный поворот.

- Идите к нам! К нам! - закричали в несколько голосов от соснового бора на берегу Волги....

Я оглянулся: звали именно меня... не живые люди, а такие же, как я теперь.

Надо сказать, что этот бор есть главная достопримечательность нашего города. Таких корабельных сосен, небось, нет нигде, только здесь. Когда ко мне приезжают гости, я веду их сюда и «угощаю бором», как фирменным блюдом, словно он посажен мною и словно это я проложил тут множество тропинок, населил его птахами, постелил под соснами черничники, воздвиг муравейники. Каждый раз мне доставляет наслаждение слышать восторженные и восхищенные восклицания моих гостей. Тут можно выбрать широкий пенек и усесться вокруг него, словно вокруг стола, и попировать, и поговорить задушевно.

В бору нашем есть стадион, всегда пустующий. Но теперь как раз отсюда и звали меня люди, чем-то очень воодушевленные. Оказывается, на футбольном поле расположилась шумная компания – человек этак пятьдесят или даже шестьдесят – и молодежь, и пожилые, но не земного, а «поднебесного» облика. Сидели они, вернее, полулежали вокруг большого стола или некоего возвышения, подобного столу, когда сдвигается их несколько, образуя один. Все это было покрыто тяжелой на вид и как бы травянистой скатертью и уставлено дивными яствами. Многие яства были совершенно незнакомы мне, я не знаю даже, как их назвать. Потому упомяну лишь те, что смог определить на вид.

Во-первых, на широких блюдах лежали два жареных поросенка в румяной корочке, а между ними огромная индейка и два гуся, фаршированные яблоками; во-вторых, я увидел икру черную и красную в серебряных ведерках; в третьих, на круглых и продолговатых тарелках лежали нарезанные тонкими ломтиками колбасы, буженина, отварное мясо крупными кусками вместе с костями, копченая рыба, сыры... На хрустальных широких блюдах – овощи и зелень.

Пирующие наливали из бутылки с широким дном и высоким горлышком черное, как деготь, густое вино в золотые / или золоченые? / кубки, а при этом необыкновенный аромат распространялся вокруг.

- Присаживайтесь! – приглашали они меня. – Будьте, как дома.

Я сел... там было несколько свободных мест. Справа от меня оказалась девочка лет двенадцати с остреньким личиком и очень приветливым выражением на лице. Впрочем, тут все были приветливы, все улыбались мне очень дружески. Возле девочки лежал здоровенный пес; глаза его смотрели на меня по-человечьи умно, внимательно.

- Это Мушкетер, он умер от любви, - объяснила девочка. – Его еще зовут Д,Артаньян.

Сидевшие поблизости засмеялись, а более дальние оглядывались на нас. Разговор за столом был общий, довольно шумный, беспорядочный, какой бывает в большой компании.

- От любви! – подтвердили сидевшие напротив меня. – Вот только сегодня умер, совсем недавно... Он очень породистый, благородных кровей... ньюфаундленд! А вот постигла его любовь, и умер.

- Ужасна смерть! – отвечал я. - *Душа нетленна / Исторглась из-под ребер пса...*

Д,Артаньян солидно гавкнул. Должно быть, не понравились мои стихи. Впрочем, не наоборот ли?

- Он полюбил совсем беспородную, дворняжку, - живо рассказывала девочка, - та жила в соседнем доме. А гулять Д,Артаньяна выводила Люда-беленькая, моя подруга. Как выведет она его на улицу, он ляжет напротив дворняжкиных дверей и никуда идти не хочет. Уведут его силой, он скучает, скулит. Так и умер от тоски. Люда теперь так горюет!..

- *В земле ньюфаундленда кости! – продолжал я. - Но в скорби Люда неправа: / На небе, а не на погосте / Жива душа ньюфаундлендова!*

2.

У меня за спиной появился некто служающий, спросил вкрадчиво:

- Что будем кушать?

- А давайте все, что есть, - распорядился я.

- Не поместится на столе, - отвечал служающий. – Прикажете ярусами?

- Тогда, значит, так... Суп раковый с расстегаями и суп черепаховый, ботвинью с белорыбицей...

- Вы все это съедите? – поинтересовалась моя соседка.

- Попробовать надо! – отвечал я ей. – Когда еще представится такой случай?

- Это логично, - сказал кто-то с другого края стола.

- Помимо названного, - продолжал я, - еще селяночку со стерлядкой. Да чтоб живенькая была стерлядочка, нагулянная, понимаете?

Сидевшие за столом прислушивались к тому, что я говорю. Услужующий в белом одеянии послушно кивал:

- Понимаю... Будет исполнено.

- На второе куропаточку с черничным вареньем... кулебяку с начинкой, так чтоб в двенадцать слоев, начиная от налимьей печенки и кончая костными мозгами. Ну и поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски...

- Bravo! – одобрила меня застолица.

Я поднапряг мыслительные способности: чего бы еще потребовать?

- Кусок мяса по-суворовски, котлетки а ля Жардиньер, два жбанчика с зернистой и паюсной икоркой... зернистая чтоб была серенькая, а паюсная этакая блестящая.

- Балычок янтаристый не желаете? – подсказал услужующий.

- Желаю! И еще телятинки... знаете, бывает такая телятинка, белая, как снег.

- Как не знать! – отозвался он, и все, что я заказывал, как-то само собой выстраивалось передо мною.

Порядки тут были явно не ресторанные. Или я до сих пор бывал только в плохих ресторанах? Серьезное упущение в моей земной жизни.

Соседку справа звали Светой. Она весело улыбалась во все стороны, и ей отвечали улыбками.

- Ты здесь давно? – спросил я у девочки.

- Сороковой день, - сказала она и лицо ее построжало. – Сегодня меня провожают. И пир этот в мою честь...

Словно услышав ее слова за общим шумом, застолица обратилась к нам лицами, кое-кто опять поднимал хрустальные бокалы с вином, как это делают живущие на земле: мол, твое здоровье, Света! Только тут уж не о здоровье тела речь, а о благополучии души ее.

- Придет срок и вас проводят так же, - добавила она как бы мне в утешение.

- Как ты тут оказалась? – спросил я у Светы тихонько.

- Умерла, - сказала она и опять заулыбалась.

- Отчего? Ты заболела?

- Шла по улице... кто-то выбросил с верхнего этажа пустую бутылку... как раз мне на голову.

Я застонал, как от зубной боли.

- Я ничего не почувствовала! – сказала девочка опять в утешение мне. – Просто вспыхнул свет... словно голова моя стала электрической лампочкой и включили ток.

У нас в Новой Корчеве почему-то считается достойным делом выбрасывать пустые бутылки из окна.

- А вот Таню двое парней затащили в лес за железнодорожной станцией и там убили, - тихонько сообщила мне Света.

Девушка Таня сидела напротив; она догадалась, что речь идет о ней, взяла яблоко из хрустальной вазы – красивое яблоко, крупное, румяное – и бросила нам через стол:

- Светка, лови!

Яблоко летело медленно, как воздушный шарик. Света поймала его и в свою очередь бросила Тане целую горсть орехов – они летели дружной стайкой, будто воробьи.

- Рядом с нею новенький, - сообщила мне Света. – Он сегодня вечером попал в автомобильную катастрофу: гонял по городу на своей иномарке и угодил в ограждение моста. Машина перевернулась...

Дюжий малый со смешным чубчиком, спущенным на лоб, поймал мой взгляд.

- Тачку жалко, - сказал он баском. – В лепешку разбилась!

- Нашел о чем жалеть! – хмыкнула Таня.

Тут они заспорили, но дружески.

- Он был в тот вечер с теми, кто ее убил, - шепнула мне Света.

- И теперь сидит рядом? – удивился я.

- Он был с теми, но убил не он.

- Все равно. Как она может?!

- Не наше дело судить тут кого бы то ни было, - строго сказала девочка. – За то каждый ответит там, - она глазами указала ввысь. – Теперь уже скоро.

Она стала перечислять по порядку всех сидевших тут: этот умер по болезни... этот повесился на собачьем поводке... эти двое утонули на рыбалке...

Невеселое получилось перечисление, я даже затосковал. А затосковавши, погрузился в размышление.

3.

О чем я думал? Что не сбылось в моей земной жизни...

В детстве мечтал стать лесником... Чтоб у меня была маленькая избушка, упятившаяся под разлапистые ели, с крышей, поросшей зеленым мохом. Чтоб на ели той жила белка, соря на обомшелую крышу ореховой скорлупой и еловыми шишками. Чтоб мхи и травы подступали к самому крыльцу, возле которого

лежала бы грозная собака-волкодав, охраняя и дом, и пасущуюся на лужку корову с телятком. Чтоб из окон дома моего выглядывала геранька, цветущая пышно с ранней весны до поздней осени. Что еще? Я не возражал бы, чтоб прямо под окнами или просто поблизости стоял муравейник... чтоб лоси подходили к сенному прикладку подкормиться...

Я выходил бы ранним утром на крыльцо, кормил с руки белочку, подсвистывал зябликам и чижам, гладил собаку и трепал ее за уши; смотрел, как дятел долбит сухой ствол дерева. Потом я шел бы по тропе или напрямик, бездорожно, обходя свои лесные владения, и отмечал: чу, там, в малиннике, медведь сопит; а на сосне столетней гнездо диких пчел; а вот барсучиха с барсучатами вырыла новую нору...

Можно без конца рисовать себе такие картины – это так от-
радно!

Я хотел быть и не стал обыкновенным крестьянином, у которого дом с дворовыми пристройками; а во дворе корова опять же с телятком, лошадка с жеребеночком, свинья с поросятами... А в избе пахнет свежим хлебом, сдобными лепешками, топленным молоком и сотовым медом.

Я запрягал бы лошадку в плуг или телегу, выезжал в поле; а жаворонки надо мной пели бы, и солнце меня ласкало...

И это тоже бесконечно отрадная картина.

Еще я не стал мудрым правителем своей страны, любимым собственным народом, сделавшим этот народ счастливым. Таковой правитель должен жить в тереме с шатровой крышей, со множеством комнат, в которых теплые изразцовые печи и шкафы с книгами; с лестничными переходами, со светелками, крылечками и тронным залом.

По утрам, вставши от трапезы, я выходил бы в этот зал, садился на трон и принимал просителей, вынося самые справедливые решения: тех помирить, этих разделить, того одарить, с этого взыскать...

Я не стал и мудрецом на манер Мишеля Монтеня, то есть не достался мне по наследству фамильный замок, в котором главное – залы с книжными шкафами, с канделябрами и свечами, обширный кабинет, где несокрушимый письменный стол с многочисленными ящиками, бронзовая чернильница и гусиные перья...

Еще я не был капитаном парусника и, увы, не открыл новых земель с неведомыми племенами; не стал и просто смиренным странником или путешественником – не посетил ни Тибета, ни Палестины, не сплавал на Таити пообщаться с красивыми женщинами и на Балеарские / какое красивое название! / острова; не пожил на реке Витим / мне так нравится имя этой реки!/,

не побывал в Афинском акрополе, в картинных галереях Флоренции, Венеции, Рима, на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем...

Еще я не стал владельцем обширного сада, а в нем яблоны, груши, сливы – все дивных сортов! И пасека на сорок ульев, и теплица с огурчиками-помидорчиками.

Садовник встает рано утром, идет по саду, открывает ульи... К нему приходят гости – он угощает их сотовым медом и румяными яблоками...

Не стал я и хирургом-целителем, героем-подпольщиком, победителем на Олимпиаде во всех видах спорта, не вступил в контакт с инопланетянами...

Что теперь об этом говорить! Ничего больше не будет... Пир жизни закончен...

4.

Пир жизни закончен, но на стадионе в сосновом бору он продолжался. Я подозвал «официанта».

- Принесите вина. Надеюсь, у вас тут не один только церковный кагор?

- О, нет! - отвечал он, словно обрадовавшись моему проснувшемуся интересу. – Что вам желательно?

- По бутылочке *фряжского, фалернского и греческого*. Ну, еще *мальвазию*... и коньяк под названием «Наполеон».

И названные мною вина выстраивались передо мной.

- Добавьте еще красное *кьянти* и белое римское *треббьяно бьянко шептиссимо*.

Что это такое, я и сам не знал, только вчера вычитал в книге воспоминаний писателя по фамилии Осоргин. Достойный человек, он любил это самое *шептиссимо*. И *кьянти* тоже.

- Bravo! – опять одобрительно отозвалась застольица.

Теперь уж не могу сказать, пил ли я те вина. Может, по усам текло, а в рот не попало? Но однако же помню, что стало мне очень хорошо в этой компании веселых, печальных, мрачных, задумчивых и смеющихся людей. Помнится, я даже читал свои стихи... «*Любимая, прощай, пора ко сну. Опять он нас надолго разлучает...*», «*Нет лучшей музыки, чем тишина! В ней магия, как в формулах и числах...*», «*Может быть, этот дом – мой последний приют, Потому его окна глядят на закат...*»

Не могу сказать, как долго мы пиروвали, но наступил момент, когда я опять загрустил. Света заметила это и предложила:

- Давайте полетаем... над городом, а?

Мы поднялись над пирующими, над бором, покружили над Волгой, потом над трубами электростанции нашей, и над лесом, где я любил собирать грибы, потом проплыли над городом, над Пьяным мосточком через Донховку... Тут Света покинула меня, сказав:

- Мне пора... надо попрощаться с родителями и с братом.

Две фигуры поднебесного облика беседовали неподалеку от нас над крышей музыкально-фекального училища. Причем одна помахивала батошкой, а другая жеманно пританцовывала. Василий – я узнал его по голосу, пролетая мимо, крикнул этим двоим:

- Что ты ее кадришь, Павлыч! Бесплезно.

Он засмеялся, а Батожок и собеседница его досадливо отмахнулась. Но Василий не отставал:

- Слышь, чего говорю: даже при вашем обоюдном согласии ничего не получится. Я вот в любую квартиру войду, не открывая двери, и в любой магазин; каждую бутылку могу погладить, приласкать... но видит око, да зуб неймет. Так и у вас. Ша! Конец всем забавам.

Последнее он сказал, уже обращаясь ко мне.

- Сначала-то ничего, неплохо, - стал объяснять он, - а потом все тоскливей и тоскливей. Кто тут недавно, тому даже интересно, а я уж нагостился. Скорей бы забирали меня отсюда!

И добавил совсем упавшим голосом:

- Маракватто тут, граждане. В смысле, скучновато. Кабы знато, последний стакан до рта не донес бы.

- Я тебя не раз остерегала, Василий: остановись, - сказала ему женщина.

В ответ он пропел с характерной грозной хрипотцой:

И прижимаю я сургучную головку

К своей больной сознательной груди.

- Вот-вот, а ты мне: коммунары не будут рабами. И про сургучную головку.

- Что ты понимаешь, Андревна, в мужской душе! На хрен мужику такая и жизнь, если ни выпить, ни закусить! Только и радости было...

- Неужто никакой другой? А Лида? Разве она тебя не любила? Разве ты ее не любил?

- Это ты вот насчет того самого? Я тебе откровенно скажу...

- Только в пристойных выражениях, ладно?

- Лидия у меня баба неплохая сама собой, но... то больно, то стыдно, то боюсь, то спать хочу, то от тебя бензином пахнет, то некогда, то беременна... и так далее. Вся и любовь! Особо вспомнить нечего.

- Коли что упустили там, то тут уж не наверстать, - заключил Василий.

Батожок осуждающе покачал головой: неуместны, мол, твои тут шутки. А женщина сказала:

- Теперь-то пожалеет твоя Лидия, что мало тебя любила. Верно?

- Еще бы!.. Как ни загляну домой – все горюет. То ли она с мужем жила, то ли теперь вдова – разница! Вроде бы, и мужик-то пьяница, а все ж таки с ним поповадней было... Однако не воротишь.

Опечалился наш Василий! Пригорюнился.

5.

Откуда-то из-за Волги со своеобразным шумом вдруг приплыло-прилетело хрюкающее стадо... Свиньи опустили на крышу одного из жилых домов, потом перекочевали на соседнее здание и тотчас стали рыть мордами, будто в поисках желудей.

- Где-то ферма сгорела, - сообразил догадливый Василий. – Точно говорю!

Он почему-то обрадовался этому, как развлечению, и отплыл от нас.

- Татьяна Андреевна, - опять стал бубнить Батожок женщине, - позвольте вам напомнить...

- Опять про собрание?

- Вы член партии...

Батожок был вкрадчив, как змей-искуситель.

- Но это бессмысленно, Николай Павлыч! – возмутилась Татьяна Андреевна. – Не забывайте, где мы находимся.

- Вы должны... Именно теперь, когда партия переживает трудную пору, - бубнил Батожок. – Мы таким образом покажем верность принципам, которых придерживаемся, и в том наше спасение: это зачтется, поверьте. Одно дело – беспутный человек, не верящий ни во что, и совсем другое – соблюдающий принципы, близкие к христианским заповедям: не убий, уважай старших, не кради, не изменяй жене. У нас прекрасные принципы! Нам нечего стыдиться перед кем бы то ни было. Даже если это сам Господь.

- Но мы его отрицали!

- Что ж, возможно, мы заблуждались. Грех простительный – искреннее заблуждение.

6.

Машина «скорой помощи» проехала под нами; навстречу ей – милицейская с мигалочкой; они разминулись, что могло означать: в городе ничего не произошло.

- Меня еще не нашли, - сказал я с обидой. – Валяюсь, как последний пьяница, на дороге... Ну и порядки в нашей Новой Корчеве! Небось, еще можно меня спасти.

- Хотите вернуться? – с интересом спросила меня Татьяна Андреевна. – Вы что-то там оставили, да?

Сказано было с иронией, даже с насмешкой.

В самом деле, что я хочу еще обрести от той земной жизни? Все, выпадающее на долю смертного, мною было обретено, я уже получил все, что мне причиталось. Разве не так?

У меня было полуголодное, но вполне счастливое детство и столь же нищая, но счастливая юность...

Я был мужем любимой женщины, познал радость отцовства... прочитал много книг, поговорил со множеством людей, попутешествовал от моря Белого до моря Черного и от Балтики до Урала и далее, до Енисея. А еще я был в Европе – скажем, в Испании, в Германии, - разве этого мало?

Так чего же я еще-то хочу? Пойти по второму кругу? Все, что могло у меня быть впереди, - лишь повторение пройденного. Разве не так? Опять книги, бумагомарание, прогулки по берегу, размышления на закате...

Вот девочка Света должна жалеть о земной жизни – и то не повидала, и это не познала...

Над больничным городком, что возле торгового центра, поднялась призрачная белая фигура и застыла в распростертом положении.

- В нашем полку прибыло, - отметила Татьяна Андреевна равнодушно.

- Может, нам надо утешить новоприбывшего? – предложил я.

- Кому нужно утешение, сам попросит, сказал Батожок.

Неподалеку перед окнами квартиры на третьем этаже перемещалась фигура – это была, судя по лицу, женщина уже пожилая и усталая, не обретшая покоя и здесь.

- Что вы маетесь? – спросила Татьяна Андреевна.. – О чем страдаете?

- Да как же не маяться – душа изныла! Всю жизнь берегла – дочке на черный день. И на ж ты поди! Инфаркт у меня случился. Раньше-то я Валентине сказала, что есть у меня монетки золотые, одиннадцать штук, да браслетик золотой - от бабушки моей Фетиньи Федоровны достались. А еще бумажками я маленько скопила... а надо было показать, где лежат. Боялась,

что зять-паразит выведает и пропьет! А теперь вот ищут... не найдут.

Зять-паразит под нами лежал на диване, потирая рукой пухлую грудь; практически, деятельным умом светились его наглые глаза.

- Может, она, зараза, где-нибудь в землю закопана, а? – свирепо спросил он.

- Не ругайся ты! – испуганно обернулась к нему женщина в халате домашнем, кое-как запахнутом.

- Ишь, как он меня честит! – обиделась женщина рядом с нами.

- Как тут не ругаться, когда вы, две дуры, ценности, можно сказать, в мусоропровод выкинули! – словно ей в ответ поднажал на голос зять. – В канализацию спустили! Собаке под хвост... Мыслимое ли дело: целое богатство спрятала куда-то и померла. Тьфу! Ну, есть ли разум у вас, у баб?

Жена его заплакала.

- Не плачь, Валь, - заколыхалась ее мать рядом с нами. – Чего с дурака ума спрашивать! Тут реветь – слез не хватит. Я, конечно, виновата, но кто ж мог знать, что инфаркт случится!

Дочь не слышала ее.

- Ей-богу, я б успокоилась, если б они деньги мои нашли. А так... словно зря жизнь прошла. Ведь, все, что накопила, пропадет. Верно, будто бы в мусоропровод выбросила.

- Оставьте их, - с досадой сказала Татьяна Андреевна. – Разберутся без вас.

- Хоть бы подать знак! – беспокоилась женщина. – А вот не подашь... Вальк! А, Вальк! На даче я спрятала. Под камень Ду-маю, вдруг подожгут дачку нашу, так я вот здесь закопаю, камнем приваляю. А в квартире нельзя было прятать – пронюхал бы твой обормот!

Нет, не слышала ее дочь.

- Ладно, чего реветь, - сказал лежащий мужчина. – Слеза-ми горю не поможешь. Будем искать! Я все вверх дном переверну, а найду. Это не пустяк: золотой браслет, кольца, серьги, монеты...

- Хоть бы на минуту ее оживить, - маялась жена его Валя. – Чтоб хоть слово сказала, а там уж пусть...

- Вот она как про мать-ту, - вздыхала бледная тень. – А только что нет, не найти им. Я глубоко спрятала.

7.

Внимание наше было привлечено тем, что внизу, возле гаражей между жилыми домами, двое мужичков тяжелым ломом

выворачивали большой висячий замок. Железо скрипело, скрежетало, но не поддавалось; мужики воровато оглядывались. Понеслось осторожное повизгивание пилы: перепиливали железо.

На балконе ближнего дома скрипнула дверь, вышел толстяк в сатиновых трусах, его обдало дождем и ветром, он оглядывался в темноту.

- Эй! – гаркнул он. – Вы что там делаете?

Двое у гаражей замерли, подались в тень.

Толстяк исчез с балкона и через минуту выскочил из своего подъезда кое-как одетый. Ночные грабители побежали под деревьями, повернули за дома, скрылись. Хозяин подошел к своему гаражу, осматривал покореженные петли запора...

Над маленьким, покосившимся домиком в старой части города, в котором лежала неподвижно строгая старушка самого древнего вида, высохшая при жизни, с немигающими открытыми глазами, витала бледная тень.

- Хоть бы прибрали, Господи! – услышали мы страдающий голос. – Второй день лежу, и никого. Сережа-то с Натахой только в воскресенье придут, да и то если на дачу не уедут. А ведь его в командировку могут послать. Она-то и вовсе не заявится.

Облаченная в белое душа старушки обратилась к нам:

- Невестушка-то моя не проведает свекровь, не-ет. Не проведает, толстуха этакая. Долго ли мне лежать-то?

- А полно, бабка, - сказал ей Батожок. – Чего ты беспокоишься! Что нам за дело! Как там говорится? – оставьте живым заботиться о своих мертвецах. А мы теперь вольные, то не наша печаль.

- И верно, - согласилась та, вздохнув. – А только уж прибрали бы, чтоб все честь честью.

- Ты-то лежите в постели, бабушка, а вот он, - Батожок кивнул на меня, - на грязной дороге валяется.

- Ишь, порядки-то какие. Будто война... и убирать нас некому.

Пока мы разговаривали, с окраины городской, именуемой Андронихой, доносились до нас и музыка, и песни, и гомон людской, несмотря на ночное время. Но то было иное шумство и веселье. Непохожее на наше давешнее, на месте стадиона в бору. Там и шум другой, и голоса иные, а тут гармошка взхлеб, пьяные возгласы и чье-то упорное «Горько! Горько!»

- По-моему, там свадьба, - сказала Татьяна Андреевна. – Пойдемте, бабушка, посмотрим.

- То-то я не видела свадеб на своем веку! – ворчливо отвечала та. – Слава Богу, и гащивала, и плясывала. Все мое время. Мне б вот теперь только к месту прибраться, я и успокои-

лась бы. Да ведь второй день лежу, и никто не приходит. Бывало Куваиха, соседка моя, то и дело, надо иль не надо, а наведется. А ныне все как сговорились – не идут. Давеча, правду сказать, Куваиха-то явилась, постучалась, а кто ж ей отворит! Постояла у двери да и ушла. Чай, подумала, что я сплю. Ей, знамо, заботы мало: картошку в огороде выкопала, свеколку очистила, пенсию почтальонка носит.

Мы уже удалялись от нее, а она бубнила свое:

- А только что прибрали бы уж да и к стороне, я и успокоилась бы...

Внизу, видно было нам, появились двое мужичков, тех самых, что давеча выворачивали ломиком замок у гаража; теперь они приглядывались к автомашине, стоявшей у подъезда девятиэтажного дома. Один из них присел, стал снимать колесо; второй сторожко оглядывался.

Я отвернулся, чтоб не видеть этого: скучно!

На соседней улице, где частные деревянные дома, тихо и неслышно растворилось окно, показалась нога в спортивной обуви, потом другая, чей-то зад, обтянутый джинсами... Еще один вор? Не много ли для маленького городка в одну-то ночь?

Молодой мужчина спрыгнул на землю, вслед ему высунулась голова с распущенными волосами, обнаженные руки обняли его за шею, потом головы разъединились, и створки окна захлопнулись.

- Хоть одно достойное дело, которым люди заняты, - проворчал я.

8.

А ко мне прибился, словно осенний листок, человек с батожком, Николай Павлыч.

Наверно, правильнее было бы сказать: белое облачко в форме человеческой фигуры с батожком... облако в штанах.

- Я вам вот что скажу, - доверительно заговорит он. – Тут, как и в земной жизни, по-моему, полное отсутствие порядка. Нет- нет, я не о верхах – там, наверху, может быть, порядок установлен даже строгий, но здесь, на нижнем уровне... аморальности много. Посудите сами: каждый занимается чем хочет, и по преимуществу бездельничает или даже, извините, развратничает.

- В каком смысле? – насторожился я.

- Имеется в виду разврат духовный, не телесный, - пояснил Батожок. – То есть опять же влекутся люди к распущенности, говоря по церковному, к земным грехам... вредных привычек не оставляют. Вот хоть бы Василий – шастает по магазинам,

предаётся постыдной слабости: водку пить не может, так гладит бутылки, любуется на них, поет: «*И прижимаю я сургучную головку к своей больной сознательной груди*».

Я улыбнулся. Батожок бросил на меня осуждающий взгляд и продолжал:

- Или вот есть тут девица... как ее зовут, не знаю... она отравилась таблетками снотворного, когда ее парень женился на другой; теперь часто посещает молодоженов и слушает, что говорит муж своей молодой жене... в постели, понимаете? Я не могу этого одобрить.

Я слушал его рассеянно.

- Думаю, нам нужно провести собрание, разработать устав и программу для тех, кто здесь транзитом; чтоб люди знали, как себя вести, чем заниматься и какие их права. Нужен учет прибывающих и убывающих... Следует упорядочить весь этот процесс прохождения лиц. Нам надо овладеть ситуацией, а именно: избрать комитет или оргбюро для повседневного руководства. Будем формулировать выводы и давать характеристики тем, кто отбывает туда.

Он опять почтительно посмотрел вверх.

- Зачем... характеристики? – слегка опешил я.

- Там зачтется, уверяю вас! Зачтется и тем, кому они будут выдаваться, и нам за проделанную работу. И тот, кто проявит инициативу, покажет свои организаторские способности здесь, ему и там найдут достойное применение, понимаете?

Он очень убежденно все это говорил. Боюсь, что я был с ним нелюбезен. Я просто покинул его, отлетел.

9.

Трудно сказать, долго ли, коротко ли... Но наступил момент, когда пространство над Новой Корчевой словно бы так всколыхнулось, и все, обитавшие тут, стали собираться в одно место – по-над Волгой, напротив устья Донховки. И меня тоже повлекло сюда.

Тут я увидел всех: и сидевших давеча за пиршественными столами, и маячивших над жилыми домами каждый со своей заботой. Но уж никто не шутил, не пел, не говорил громко.

Впрочем, Василий привычно балагурил, упоминал «сургучную головку» и «больную сознательную грудь», а Батожок пытался что-то втолковать соседям очень серьезное, но от него отмахивались, не желая слушать.

Вдруг все замолчали, стали глядеть вверх: с горних высот спускались к нам двое, похожих на нас, но в необычных одеяниях – то были свободные одежды, ниспадавшие складками с плеч

до самых колен и ниже. Небесный свет волнами заливал наш бор и Волгу, и Донховку, и город весь.

Те двое ступали как бы по круто спускающейся от неба до земли плоскости, ступали легко и невесомо, словно на каждом шагу их подхватывало ветерком и опускало. На некотором расстоянии от нас, не дойдя совсем немного, они остановились, посоветовались; я мог рассмотреть их лица: это были юношески-девичьи лица, похожие одно на другое, как у близнецов. Они оглядывались в нашу сторону. Один из них поднял руку, и словно эхо прокатилось над нами. Однако какое слово было произнесено, я не разобрал. В ответ на этот зов Света всплеснула руками так, словно оглаживала себя, поправляя одежду... На нас она не посмотрела – я запомнил построжавшее, взволнованное выражение ее лица – и отправилась к тем двоим, приблизилась к ним. Они как бы подхватили ее под локти, едва касаясь, увлекая с собой, при этом говорили что-то оживленно, и, по-видимому, она им отвечала... Так, беседуя, они стали удаляться от нас в горнюю высь.

А мы стояли, глядя им вслед.

10.

Сцена эта произвела на меня потрясающее впечатление. Мне захотелось остаться одному, и я отстранился; отнесло меня в сосны. Родничок тут журчал...

Я мгновенно вспомнил другой такой же родник – на Нерли, в кустах ольшняка, в небольшом распадочке берега. Неподалеку от него на опушке леса по имени Божий Дом мы каждое лето ставили палатку, а на родник ходили за водой. Идешь бывало с ведерком, жмуришься от солнца, от ласкового ветерка, от хорошего чувства в душе. И вот спускаешься к роднику, а тут прохладно, и он журчит, журчит...

Кто-то заботливо и мастеровито установил там маленький деревянный сруб, наподобие колодезного, - бревнышки меньше, чем в локоть длиной; и вот в глубине его совершалось святое таинство рождения – этакий бурунчик шевелился неустанно, перемывая желтый песок. Водичка, естественно, холодная, первозданной чистоты и свежести перекачивалась через край сруба в желобок и журчала, журчала...

Я как-то очень живо представил себе это... и воочию увидел теперь перед собой! Встал, огляделся – я был один, а рядом уже не Волга – Нерль, и невдалеке темнеют избы деревни Соломидино... а сосны шумят поблизости – то не новокорчевской бор, а благословенный Божий Дом.

Я прошелся по берегу, узнал место, где ставили мы свою палатку не одно лето и не два, а несколько. Какая то была счастливая пора! Жаль, что мы тогда не отдавали себе в том отчета.

Господи, спасибо Тебе, что Ты подарил мне тогда эти дни на родине моей! Теперь есть что вспомнить, теперь это мое достояние – словно шкатулка с фамильными драгоценностями.

Утром проснешься – птицы лесные щебечут как раз над тобой, ветерок живой веет сквозь противомоскитную сетку, пахнет хвоей и смолой. И ощущаешь себя в родной среде, в родственном тебе мире, ты его частица, и от сознания того спокойно на душе.

Я поднялся выше и увидел колокольню церкви – это село Спасское. Ни одно окно не светилось тут, все спали. Петух пропел и ему откликнулся еще один и третий. А над сельским кладбищем замерла в горестной позе фигура, вроде моей. Лицо женщины показалось мне знакомым, но я не стал отвлекать ее разговором, переместился на берег Нерли в то место, где впадает в нее ручей под названием Ир. Прошелся по берегу Ира, потом лесом по имени Малое Родионово, узнавая тропы и поляны; по меже пересек поле и увидел деревню свою... Чем там было любоваться посреди-то ночи да при пасмурном небе, при сеющем иногда дождике? Но отчего, скажите, так изнывала от любви и нежности душа моя, когда я видел все это – темное поле, молчаливые кусты, купы тополей и ветел над крышами родной деревни?

Я постоял тут... и все вокруг оживало.

Вон на краю Ремнева, дом наш... Он сгорел вскоре после того, как продан был. Я уверен не от оставленной керосинки загорелся он, а вспыхнул сам собой, не желая служить новым хозяевам. Так умирают оставленные на чужое попечение собаки...

Вот он теперь стоит, освещенный солнцем, я его ясно видел: три больших окна на фасаде – я любил украшать их березовыми ветками в Троицын день; крылечко, с которого я сошел и уехал в Сибирь; дверь «черного хода» и ворота в коровье стойло – там жила наша корова Дочка...

На поле, называемом Спасскими Платками, боронили ребята-подростки. Лучших лошадей взяли на пахоту, а на бороньбу дали им похуже, молодых да норовистых. Потому каждый боронильщик имел по водильщику – парнишка помладше вел лошадь под уздцы. Среди тех, кто вел лошадку, и я; мне лет десять, я бос – валенки с дырявыми калошами оставил на канаве, в них тяжело ходить по полю, скоро устанешь, босиком-то легче, но вот пальцы ног уже сбиты о камни. Какая озабоченность и

важность на моем лице – работа серьезная! Жаворонки поют над нами, солнышко светит...

А на соседнем поле за Новым прудом еще жара июньская, опять же жавороночьи песни, и опять же я. Мне лет шесть или семь, тут и старший братец мой, и мать, и все наши деревенские... мы пропалываем лен. По льну желтуха цветет дружно, победно. Впереди перед нами широкая желтая полоса, позади прополотый зелененький ленок... А пить хочется непереносимо! Мы с братом бежим к дороге, там еще сохранилась в колее вчерашняя дождевая лужа, мы к ней припадаем, как к роднику...

А с другой стороны от Ремнева моего еще только светает; я иду – мне восемнадцать лет – в волосах у меня гребень девичий, подковкой от уха до уха – не подарок, нет, просто дано поносить в знак особого ко мне расположения; я выну его, поднесу к лицу, улыбаюсь...

Картины одна другой знакомее и потому поразительнее проходили перед моими глазами, и не было им конца – все это пространство вокруг деревни Ремнево жило-шевелилось, звенело, шумело... но потом исчезли живые картины, и я остался один в поле.

Так сиромолчало все, беззащитное перед природными стихиями и бурями социальных потрясений!

- Господи! – воззвал я со всей силой, на какую только был способен. – Спаси и сохрани, Господи, мою малую родину, ибо она прекрасна... спаси и сохрани Россию, состоящую из таких вот малых родин, где посеяны наши сердца!

И тут произошло чудо...

11.

Произошло чудо: оранжевый свет полыхнул зарницей по всему небу и просеялся до земли и остался во всем этом пространстве. Мгновенно подняло меня на высоту птичьего полета и выше, кто-то надо мной сказал голосом всеобъемлющим:

- Чего просит этот младенец?

Сказано было с грозностью, но с добродушной усмешкой; и смех многих раздался, хороший смех.

Я увидел шествующих небесным путем людей... ну да, они имели человеческий облик: трое в сияющих, ослепительной белизны одеждах, без головных уборов и, кажется, без обуви / не могу вспомнить точно / с непередаваемо блистающими взорами... и вокруг неисчислимое количество... свиты или воинства. Впрочем, я все время видел только этих троих, устремясь к ним зрением, слухом, душой. Я вовлечен был их движением, как перышко проходящим мимо поездом.

- Отче, - молвил тот, что справа /одесную /, - выслушай его. Он что-то хочет сказать.

Шествующий в середине Старец ликом был ясен, высок ростом, с могучими плечами и с белой бородой ниже пояса. Все в нем дышало непостижимой, непередаваемой мощью – то была и физическая, и совсем иного рода мощь, которую я лишь ощущал, но сознавать не мог. Я понял, Кто передо мной, и тотчас потупился, не вынеся силы Его очей.

- Господи! – обратился я к Нему, охваченный внезапной догадкой. – Давно-давно, когда еще мальчиком я шел вот этой проселочной дорогой от своей деревни в Спасскую школу... то было весной, в мае: мир вокруг меня вдруг озарился неземным, вот таким же как бы оранжевым светом, совершенно заворожившим меня тогда... это был Ты, Отче наш?

- Да, - ответил Старец великодушно.

- Я понял тогда: в мире что-то произошло, но причины и источник света остались неведомы мне... Верно ли, что ко мне было слово Твое, которое я услышал не ушами, а сердцем?

- Да, и к тебе тоже.

- Тот свет в душе моей никогда не потухал...

Третьей в той троице была женщина... или я ошибаюсь? Не было возможности рассмотреть внимательней – слепило глаза, но я мгновенно запечатлел в памяти своей зрительной, что черты лица ее нежны и несли отражение необыкновенной кротости.

Они продолжали свое шествие, и я за ними был увлекаем. Словно бы грома дальние, сдерживаемые, сопровождали нас, - грома, туго давившие на уши мне... Не было облаков под нами, они раздвинулись за горизонт, не было ночи – темнота ушла в землю... а шум от шагов идущих был подобен шуму морского прибора.

Тот, что шел одесную от Старца, был ближе ко мне и смотрел сострадательно, ласково... пожалуй, именно его взгляд ободрил меня и подвигнул к бесстрашным вопросам.

- А в том сне моем, когда я жил на Селигере, в городе Осташкове, на втором этаже деревянного дома с печкой... был мне сон: море в крутых бирюзовых волнах, играющие красноперые рыбы, и дом мой качался подобно кораблю, и свет с небес, подобный солнечному... это был Ты, Отче наш?

- Да, - ответил Старец, наполнив меня еще большим светом и радостью, и одновременно ужасом. – О чем ты просишь?

- Спаси и сохрани родину мою... Ты видишь, сегодня она сира и убога... но нет ее прекраснее! Спаси и сохрани Россию – это лучшее творение Твое: светло пресветлая и красно укра-

шенная Земля Русская! Спаси и сохрани русских людей – их ноша ныне непосильна.

- Я знаю это, - молвил Старец. – То мой промысел, моя и защита.

Под нами плыли поля и леса, Волга с притоками – Нерлюю, Медведицей, Сестрой; светили огни городов Калязина, Кимр, Дубны... Я даже видел вдали и Углич, и Кашин, а где-то по горизонту Москву и Тверь... Но я всего лишь раз бросил взгляд вниз – весь охвачен был стремлением к шествующим.

- А что ты просишь для себя? – спросил шедший одесную от Старца. – Сокращения врагов? Богатства? Многолетней жизни?

Я мог его видеть совсем близко: Он был лет тридцати, строен, голубоглаз, с молодыми руками, с молодой бородкой – пожалуй, не похож на свои многочисленные изображения. А впрочем, в какой-то мере и похож.

Я смутился и промедлил с ответом, потом сказал:

- Если что-то и нужно мне, Господи, то потому лишь, что это нужно им.

Тут я кивнул вниз – мы были как раз над Новой Корчевой.

- Городок наш погряз в суете и безветрии, в злобе и корысти – это безмерно удручает меня. Здесь жируют мерзавец и плут, здесь ликуют прохвост и бездельник. Люди утратили понятие о цели и смысле своего существования; живут, как трава растет...

Всего на миг остановились Они над Новой Корчевой, глядя вниз, но этот миг вместил в себя разговор, потребовавший от меня напряжения всех сил.

- У них должны быть благородные стремления, - говорил я, - чистые помыслы, взаимная любовь и любовь к земле, на которой они живут.

Доныне владеет мной волнение, не позволившее мне выразиться достойнее.

- Почему Ты, Господи, так редко посещаешь нас? – спрашивал я не с упреком или укоризной, а с сожалением и мольбой. – Мы неразумны, легко впадаем в заблуждение – то не вина, а беда наша! Не гневайся на нас... поговори с людьми, выслушай их. Одного Твоего появления будет достаточно, чтобы люди уразумели Добро и Зло, приобщились к Истине, чтоб просияли они...

Присные легко засмеялись: мол, экий младенчески наивный человек! – но я продолжал:

- Прости меня, если скажу: Ты создал нас по образу и подобию своему, но оставил без постоянного отеческого настав-

ления, без присмотра и поучения. Или в том промысел Твой, которого мы не в силах постичь?

Кажется, я был слишком дерзок, и женщина, стоявшая ошую от Господа, что-то сказала Ему, должно быть, предупреждая возможный гнев.

- Ведь раньше, Отче наш, ты был ближе к людям – так свидетельствует Библия. Ты обращался к нам непосредственно, и мы слышали Твой глас. Явись у нас в Новой Корчеве, сиротском городе, не имеющем храма.

- А кто тут окормляет моим именем паству? – спросил Старец, обращаясь к присным.

- Отче, - сказали Ему, - тут несколько священников в подгородной Ильинской церкви, но все в своих руках держит один. Он суетен и грешен, увлечен сугубо мирскими, очень личными карьерными делами. Увы, он нарушает Твои заветы слишком часто!

Старец нахмурился, и ропот среди присных смолк. Наступила краткая пауза, после которой были произнесены слова, не для моего слуха предназначенные, потому я их не слышал.

- Закончил ли ты свои земные дела? – спросил меня Старец, как показалось мне, вполне благосклонно.

- Нет, Отче, он еще не завершил их, - сказал стоявший одесную и видевший мое смущение.

Почему-то с ясностью запомнилась мне его рука – словно в камень, врезалась в память мою! Она была тонка в кисти, с удлинненными чуткими пальцами, словно бы измождена, но в ней была сила – это от ее взмаха плеснула вода в Волге, местами обнажая дно.

- Возвращайся, - сказано было мне, и великое шествие продолжалось.

Ветра не было, но волосы и складки их одежд отвевались... наверно, напряжением света, однако совсем как дуновением ветра.

Они уходили от меня, от Новой Корчевы, и от земли, подобно тому, как удаляется залетевшая из глубин космоса комета. И вот странность: самое большое воздействие на меня произвели не услышанные мною слова и даже, может быть, не лицезрение небожителей / я все-таки не мог воспринимать их во всей полноте/, и не свет, исходивший от Них – меня совершенно потрясло это шествие: казалось, Земля прогибается, леса шумят, как при сильнейшей буре, и Волга выплескивается из берегов... сам же неостановимый ритм шествия был прекрасен.

Как-то вдруг, ничего не успев осознать, я оказался на главной улице Новой Корчевы, возле того злополучного фонарного столба. Тут стояла машина, светила фарами на мое нелепо лежащее тело. Как я понял, «скорая помощь» просто ехала мимо и вот заметила совершенно случайно, остановилась.

- Нет, не пьяный, - сказал врач, склонившийся надо мной.

Девушка в белом халате, должно быть, медсестра, держала запястье моей руки.

- Пульса нет, - сказала она.

- Открытый перелом голени... Толя, давай носилки!

Шофер вышел из кабины, открыл задние дверцы, грохнул носилками.

- Холодный, - сказала медсестра. – Можно сразу в морг.

Врач потрогал пальцами мою шею.

- Вроде, что-то есть, - возразил он. – Только слабо очень.

Они уложили меня на носилки. Я застонал от сокрушительной, все подавляющей боли. Но еще через мгновение восстал... опять на уровень птичьего полета.

Далее случилось вот что: рядом со мной оказалась... Вита. Но не в плаще и не в комнатных тапочках – она была сгущением облака, в «поднебесном» виде, как и я сам.

- Куда вы исчезли? – спрашивала она встревоженно. – Я видела вас мельком там, когда провожала эту девочку. А потом вы пропали.

- Был призван, - кратко объяснил я. – Но почему, почему ты здесь?!

- Убили, - сказала она просто и довольно равнодушно. – Впрочем, нет: я сорвалась с балкона, значит, не убита, а просто погибла. Несчастный случай. Муж кинулся... он был с ножом. Я испугалась, хотела перелезть на соседний балкон... Я и раньше так делала, когда он напивался и буянил. Но сегодня дождь, перила мокрые... нога соскользнула.

- Ви-ита...

- Вы покидаете меня, - сказала она печально. – Я так обрадовалась, узнав, что мы будем вместе... а теперь вот вы оставляете меня здесь одну?

- Ну, еще неизвестно, - утешил я ее. – У меня очень мало шансов выжить: голова разбита вдребезги.

- Если эскулапы совершат чудо, и вы вернетесь к жизни, помните: я здесь, и я люблю вас...

Разговор наш был прерван: я оказался в приемном покое больницы. Но тотчас снова рядом с Витой. Она говорила:

- У нас мало времени... а мне необходимо сказать, что я люблю тебя... давным-давно, с тех самых пор, как мы рассказывали друг другу сказки в нашем тереме-теремке.

Я был смущен ее признанием, к тому же она взяла меня за руку, и это ласковое прикосновение отозвалось во мне вполне по-земному.

- Я хочу быть с тобой, - говорила она. – Хочу быть с тобой...

В следующее мгновение я уже лежал... то есть моя материальная оболочка лежала на операционном столе в ярком электрическом свете. Одежду с меня уже сняли... вид моего голого тела был ужасен. Врач как раз подошел, сказал бодрым тоном:

- Ну что, будем оперировать или пусть живет?

После чего я опять был с Витой... мы гуляли и беседовали задушевно. Однако это особая история, которую я не хочу здесь излагать.

13.

Я пролежал в больнице полтора месяца.

Из больницы меня выписали в самый канун Нового года. И в новогоднюю ночь я чистосердечно рассказал жене, кого видел, о чем говорил, будучи ТАМ. И о том, что встретил ТАМ женщину по имени Вита, и что она меня полюбила, и как трогательно мы расстались.

Эта история с Витой почему-то понравилась моей жене. Она очень смеялась и сделала вывод:

- Ты у меня бабник... иначе говоря, дамский угодник. Надо же, и там за кем-то ухаживал!

Весь январь я проходил на костылях, но под коленом нога срослась неправильно, и в феврале мне сделали операцию.

С середины марта я опять ходил на костылях, а в конце апреля просто с палочкой.

К этому времени я твердо знал, что случившееся со мной ТАМ было лишь игрой моего воображения. Ну, стукнулся головой о бетонный столб, вот и... что тут удивительного! Я даже приглядывался к встречным и поперечным в городе: вдруг встречу Батожка, живого и здорового, или Светочку, или пьяненького Василия. Да где там! Скорее всего, они просто приснились мне.

14.

В один из первых майских дней я дохромал до автобуса, именуемого в Новой Корчеве «двойкой»; мне уступили место... (впервые в моей жизни уступили место!) и я доехал до конечной остановки на окраине города. У меня не было определенной

цели, поскольку я не мог рассчитывать на дальнейшее путешествие. Но что-то подталкивало меня в определенном направлении: иди, иди...

День был ясный, солнечный; жаворонки пели-заливались, и я этак слабенько улыбнулся, приободрился. Дул несильный влажный ветер, насыщенный запахами столь обычными в эту пору: талой водой, отогревшейся земли, молодой зелени.

Я медленно побрел, дивясь, как чуду, тому, что люди копают огороды, что тут и там слышен бодрый стук топора, переключка работающих. Окраина строилась, тут собирались жить, несмотря ни на что.

«Кто видит день нынешний, тот видел и бывшее тысячу лет назад, и на тысячу лет вперед», - вспомнилось мне.

Я уже вышел за крайние дома; тропинка вела в поле; за ним и за железной дорогой виднелась вдали колокольня Ильинской церкви. Там старое кладбище, но гораздо ближе на опушке леса за насыпью кладбище новое, на котором я еще не был. Вот если б умер, меня похоронили бы на новом. Мне почему-то хотелось теперь посмотреть, где могла бы быть моя могила.

Возле железной дороги как раз на окраине леса я присел на траве, не в силах двигаться дальше: больная нога давала о себе знать. Сидел, отдыхая, а из трухлявого пенышка, увенчанного двух или трехлетней березкой, совсем рядом со мною вылетела птаха – я не успел ее даже рассмотреть. Нетрудно было догадаться: там у нее гнездо. В сумраке круглой норки различались маленькие крапчатые яички, каждый с ноготок детского мизинца. Меня охватило чувство приобщения к птичьей тайне, я даже ощутил запах теплого птичьего гнездышка, знакомый мне с детства... и поспешил встать и отойти, чтоб понапрасну не беспокоить птаху.

Когда я перешел железную дорогу и пробирался между могилами кладбища, мимо промчалась электричка. Как раз в эту минуту на могильном памятнике, изготовленном из оцинкованной жести, я прочел:

**Потехин
Николай
Павлович**

И годы рождения, смерти.

Пожалуй, я усомнился бы в том, кому принадлежит эта могила. Но была тут одна безделица, увидев которую, я вздрогнул: за оградкой прислонена была в углу палочка, этаким батожок, какие берут в руку старые люди, отправляясь в путь.

Я побрел дальше и скоро попалось на глаза:

**Волков
Василий
Петрович**

Потом была могила с надписью:

**Тихонова
Света.**

А далее за новенькой оградой из пруткового железа – могоильная плита «под мрамор», и на ней портрет красивейшей на свете женщины. Только этот портрет и больше ничего. Никакой надписи.

Я поднял глаза к небу – лицо Виты Ивлевой проявилось там, как на фотобумаге. Улыбка ее, сиявшая над этим суетным миром, была прекрасна.

2000г